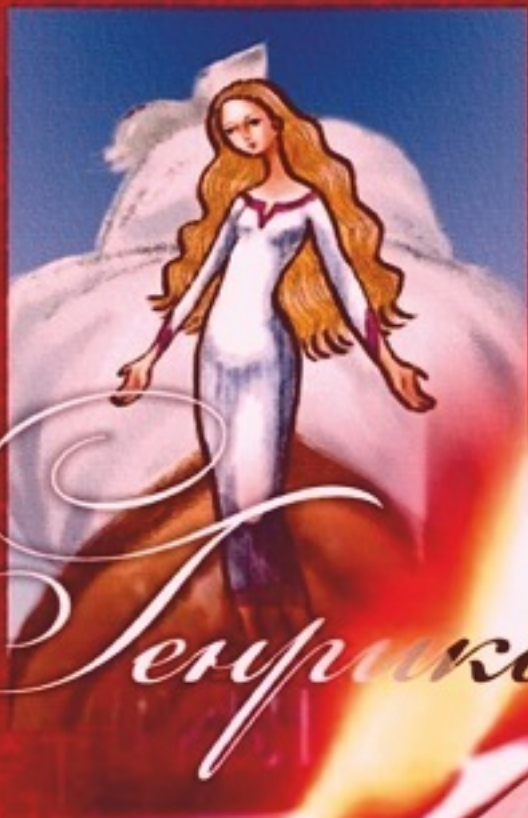


Василий Добрынин



Телушка

Василий Добрынин Генрика

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=18322884

Аннотация

Али Рокшанек, Генрика, Алёнка, Елена – четыре имени, четыре судьбы, четыре эпохи. Александр Македонский-Великий потерпел поражение в Индии; четыре пушечных ядра из орудийного жерла, в упор, в лицо, разорвали бессердечного Джона Шарки; мог ли стать человеком Осип Савинский, и почему не стал? Десница Фемиды настигла Сенеку, могла бы и не... Почему? Об этом книга «Генрика».

Василий Добрынин

dobrinin58@mail.ru

Али Рокшанек

Новелла

По мотивам писателя Василия Яна

«Скала Согдианы» – единственная неприступная для Александра Великого крепость. Дочь Оксиарта, прекраснейшая среди невест Бактрии и Великой Персии, жаловалась, показывая вокруг:

– Они счастливы тем, что живут в этих стенах...

– Крылатых воинов нет, – отвечал Спитамен, – и растоптавший пол-мира воитель сюда не поднимется. Они это знают, поэтому счастливы.

– Неприступность, и счастье, не совместимы... – вздохнула дочь Оксиарта, – Не думал об этом? Мне скучно. Я хочу повидать весь мир, а останусь здесь, в этих каменных стенах, с мальчиком, который смотрит восхищенными глазами. Ждет, когда меня отдадут ему в жены.

– С ним, Рокшанек, ты будешь счастлива – пожал плечами Спитамен.

– Почему так считаешь, даже не зная о ком речь?

– Смотрит восхищенными глазами – значит он не испорчен страстью к войне и наживе.

– А о другом что скажешь?

– А с тем ты получишь то, чего хочешь.

– Ты знаешь его?

– Его знают все, и он уже близок. Вон... – показал Спитамен рукой вниз, – Он стремится в одной руке держать Запад, в другой Восток. Он будет воевать и гнаться за наживой до тех пор, пока не покорит весь мир и все народы. А покорив, с такой же страстью поведет войну против леса, снегов, рек и диких зверей. Повидать весь мир – это с ним. Он тебе нужен, Рокшанек!

– Но у него нет крылатых воинов, мы даже не встретимся. Я неприступна, сам говоришь...

– О неприступности сердца не говорю...

– Он враг... – попыталась Рокшанек смутить Спитамена.

– Враг. Но – именно тот мужчина, который может тебя провезти через дальние страны, до места, где небо сходится с землей. При этом тебе будут заплетать волосы, и растирать тело душистым маслом и оказывать царские почести.

– Или женщине льстишь, или счастья желаешь врагу, Спитамен...

– Просто, я справедлив, а ты получишь то, что хотела.

– А ты? – перебила, капризно кусая губку, Али Рокшанек. Откровенно ей симпатичный мужчина, так холоден с нею...

– А я, -улыбнулся он, -надеюсь на то, что воинственность моего врага, потускнеет в паутине твоей любви.

Слова походили на шутку, не нравились, но убеждали:

Спитамен в сравнении с каждым из тех, кого подбирали Рокшанек в мужа – мужчина незаурядный, умный, отважный...

– Почести и при тебе получу, мне их будет довольно...

– Я к ним не жаден, почести и удовольствия губительны для деятельного человека. А пол-мира у ног и высокая роскошь – только к нему, только с ним, Александром Великим! Тебе нужен он, Рокшанек.

– А ты не хочешь меня, Спитамен?

– Не хочу, – даже не смерил он взглядом красавицу.

«В паутине моей любви...» – затаила обиду Рокшанек, и тихо, без тени вражды, спросила:

– Мы увидимся, да, Спитамен?

– Если наши слова не развеет ветер, встретимся. Но, скорее всего, ты увидишь голову, ведь я Александру не нужен...

Он отвернулся и уходил не прощаясь.

– Спитамен, – хотела она, чтобы он услышал, – буду помнить тебя и хранить надежду...

«Обидел ее...» – задумался Спитамен, покидая Рокшанек и «Скалу Согдианы». Зачем неприступность «Скалы», если он ищет встречи, а не спасения? Проигравший свой мир Искандеру Двурогому, не станет он доживать свои дни в осаде, в углу, за спасительной толщей каменных стен. Не в подобном спасении счастье, а в смерти – когда она хоть кому-то во благо...

Пыль оседала. Всадник долго осматривал мир. По пле-

чам пробежала тень одиноко парящей птицы. Он оглянулся вслед, поймал взглядом хищную птицу и долго-долго не сводил с нее глаз, до тех пор, пока не растаяла в небе черная точка. «Тенью прошла и растаяла в небе...» -оценил Спитамен. Вчерашнее горение души отзывалось сегодня горечью. Народ, за гордость и волю которого всегда был готов умереть Спитамен, не жаждет этого. Народ согласен жить на коленях, но в мире. Воин готов купить мир у Двурогого, а не защитить свой собственный...

Выскользнув из седла, Спитамен покатился в траве, крича про себя, без голоса, небу, земле: «Прощай мир!» «Откуда, – не знал он, – откуда такая тоска?» Парящие птицы беззвучны, мир сохранил тишину, не заметив тоски Спитамена...

Вчера «Скала Согдианы» была неприступной, но сегодня македонские воины торжествуют в поверженной крепости. Не умея летать, они и не стали сместить защитников высочайшей твердыни. Но атаковали не как муравьи, а сделали это как птицы – с вершины Скалы Согдианы. Александр выбрал наиболее опытных воинов-скалолазов, назначил награду каждому, по степени первенства, поднявшихся на вершину. Многие сорвались, но к рассвету на вершине скалы, над крепостными стенами, блестели доспехи воинов-Александра. Сверкали мечи, и торжественный глас покорителей падал на плечи защитников крепости. Указав на них, Александр требовал немедленной сдачи. Твердыня пала: непри-

ступность для приземленного хищника, бессильна перед натиском хищной птицы.

Плененных начальников и вождей Александр велел бичеванием гнать к подножию, вниз, и там подвергнуть распятию. Граждан, среди которых были Рокшанек и рядовые защитники, приказал дарить в рабство, великодушно оставив им право жить. Поштучно перебирая каждого из убывающих в рабство, чиновники Македонского – слуги и паразиты порочных страстей войны, отбирали красивых и юных женщин...

Порочные страсти войны, о которых говорил Спитамен, требовали женщин для победителей, и Рокшанек уже не могла даже думать о скуке. В числе тридцати самых красивых пленниц, ее ввели в зал пирующей царской свиты...

Ветер, безликий, бесчувственный и вездесущий, унес слова Спитамена в даль, где они скоро будут забыты. Вместо скучной любви, судьба наделяла Рокшанек зловещим подарком – мучительной смертью в любовном экстазе врага...

Александр Македонский

– Я привез тебе мир! – торжественно объявил Детаферн, опуская к ногам Александра мешок.

– Нельзя его привезти, – возразил Александр, – я получу его сам, когда возьму в руки голову последнего врага.

– Именно так, – подтвердил Детаферн, наклоняясь к меш-

ку.

«Рты разинули!» – наблюдая, с каким любопытством кинулась свита увидеть мир в мешке Детаферна, содрогнулась жена Александра, царица Роксана. «Спитамен...» – подумала вдруг она о гордом мужчине, которому, зная его чуть больше часа, готова была поклониться Али Рокшанек – красивейшая среди невест. Царица иначе, но лучше царя, знала величайшего из его врагов, и знала о тайном, спонтанном желании юной Рокшанек, поклониться тому человеку.

Он мог бы ее, как любую из тридцати красавиц, взять силой. И сделал бы так, но в это время умирала, или только что умерла, женщина, которую он не сумеет, даже если захочет, быстро забыть. Хрипели от удовольствия стражники, поочередно вторгаясь в истерзанную, кровоточащую вагону юной смуглянки. Александр дал волю на это, на все, что угодно мужскому буйству и обязал сопровождать смерть красавицы невыносимой болью. Плата за отвагу и страшную тайну женского чувства, неразгаданную царём. Усладив его тело любовью, юная женщина вынула золотую заколку из длинных волос и ударила в царское горло. Стража вовремя перехватила руку...

«Думал, – признался царь, прижимая пальцами неглубокую рану на шее, – она меня любит, а она мечтала убить Искандера Двурогого...». «Бедняга – скифянка, а Искандер – враг её отчества», – напомнил Придворный мудрец Кал-

лисфен. «Покоренного мною отечества!» – уточнил Александр Великий. «Мир покоришь, но умрешь несчастным, если женщина, будет грозить тебе в горло заколкой, вместо любви...» – не смутился мудрец Каллисфен.

Он прав, но в разгаре пир в честь взятия неприступной «Скалы Согдианы». «Не будь расторопной стража, умри Александр – не пала бы крепость, не было пира, и...» – задумался царь и потерял ход мысли – взгляд выхватил в широте увлеченного пиршеством зала, обнаженные плечи одной из пленниц.

– Её! – указал он пальцем.

– Али Рокшанек, дочь... – с почтением доложили царю, царь отмахнулся:

– Неважно, чья дочь!

Стража вострила уши, зная непредсказуемость женской руки. «Завтра, – гадала стража, впечатленная красотой свежесобранной девушки, – или же послезавтра, получим на растерзание?» Должна получить: пленница – та же скифянка, дикарка, из тех, что могут убить человека, и даже царя, не признав его власти. Стража напрасно вострила уши...

Он поставил в тупик соратников, стражу и мудрецов, смутил Гефестиона. Александр напомнил о том, что он смертный и заявил о любви. Не осуждая вслух высочайшей воли, однако, в царском кругу сочли неприемлемым имя избранницы, и на другой день Али Рокшанек проснулась Роксаной – невестой царя.

Свита признала: такая свадьба – правильный политический шаг Александра. А скифы, персы и варвары высоко оценили выдержку, честь и желание Двурогого Искандера сохранить человеческий облик. Любовь добивается большего, чем беспощадный меч: мир воцарился в захваченных землях и Александр, свита и войско, предалися удовольствиям. Восходила к зениту пора процветания. Лишь Спитамен, непримиримый враг, бросал тень на поляну всеобщего благополучия...

Мир из мешка Детаферна

– Я принёс тебе мир, повелитель! – заявил Детаферн и расправил мешок.

– Зачем приносить мне то, что я завоюю сам?

– Это не то... – Детаферн ступешевался.

– Мир в мешке! – усмешка скривила губы Александра Великого. – Но, – указал он жестом ладони вверх, – показывай...

Волнуясь, Детаферн запустил в мешок непослушные руки, и вынул оттуда персидский башлык. Затем, держа за волнистые волосы, высоко, выше глаз, поднял голову, мертвым лицом обернув к Александру.

– Кто это? – спросил Александр.

– Спитамен!

– Ты прав... – помолчав в смятении, признал Александр,

-Прекрасная голова!

– Щит Дария меркнет в тени головы Спитамена, царь! – с отвагой солдата заявил Детаферн.

Отвага, ему несвойственная, выиграла лишь потому, что он видел смятение Александра, но царь не одернул.

– Он искал встречи со мной, – взял себя в руки Александр Великий, и церемонно обратился к мертвой голове, – рад встрече! Жаль, – обвел взглядом круг очевидцев, – не смогу эту голову долго возить как прекрасный трофей, как щит Дария... Лисипп!

– Я здесь, Александр! – отозвался великий скульптор.

– Сможешь вылить из бронзы такую же точно?

– Сделаю точно такую!

– Значит, он больше тебе не грозит – отвернувшись, спросила Роксана.

– Как? – ответил, смеясь Александр, – Без головы?

Видя, что она не смеется, признался:

– Спитамен – не хитрый лис Дарий. Отважный, доблестный, умный – самый яркий огонь в тьме моих врагов. Он боролся со мной до конца, и остался верным своей борьбе и народу, за который страдал. Последний, но первый из тех, кто нанес поражение мне. Лучшие полководцы: Менедем, Каран и сам Андромах – разбиты им.

Александр притянул гибкий стан Роксаны, обнял и закрыл глаза, ожидая касания губ на своей щеке.

– Не сейчас, – отстранилась Роксана, – прости...

Не развеял бесчувственный ветер слова Спитамена о встрече. Встретились. И надежды умерли... Упала на плечи тень одиноко парящего в небе хищника. «Я справедлив...» – говорил Спитамен, обещая – Рокшанек получит всё, до самого края земли, пограничного с небом.

Взгляд, скользнувший за тенью парящей птицы, наткнулся на спину идущего прочь человека: великий скульптор нес в мастерскую мешок с головой Спитамена... *(*Мраморная «Голова умирающего перса в башильке», ныне хранится в Риме, в музее Термы)*

Детаферн получил свою долю славы и денег за то, в окровавленном, грубоотканном мешке принес мир. Обрюзгший, мелкий умом хитрец, он – полная противоположность Александру. Царь царей – дитя спартанского воспитания. Личную храбрость воина и проницательный, гибкий ум полководца, знал и ценил в Александре каждый солдат его армии. Равный с солдатом перед холодом смерти и пламенем битвы, Александр делил с рядовыми все: от ночлега в палатке, в плаще под открытым небом, до тризны. Он знал всех поименно в своем многосоттысячном войске. Равный, он все-таки был среди равных лучшим! За это его любили, в этом был ключ к победе.

Не воин, но великий царь

Гефестион был первым из тех, кто стал падать ниц перед

царским тронем. Это был трон великого Дария, которому персы, от приближенного, до последнего, падая ниц, целовали ноги.

Александр, занявший высокое кресло великого перса, мог бы одернуть: «Дружище, Гепестион, поднимись. Я не перс, а мы, воины – кровные братья. Мы оба равны перед богом и солнцем!» Но не одернул. Жест почитания Гепестиона был добровольным, царю понравился, и новая церемония стала священным долгом.

Не был бы первым Гепестион, если бы не Роксана...

На празднествах, пиршествах, переходящих из одного в другое, нескончаемых после гибели Спитамена, Александр восседал на троне, где до него восседал персидский царь Дарий. И ему, как Дарию, персидские сановники, сограждане Роксаны, целовали ногу. Роксана нашла в этом несправедливость.

– Почему же тебе Александр Великий, – спросила Роксана, – не кланяются твои македонцы? Разве все македонцы избранники богов? Только ты – единственный сын бога. Если они не станут тебе поклоняться, то один из них захочет захватить твое место.

Не был бы первым в поклонах Гепестион, если бы не Роксана, которую он полюбил непорочной и страстной любовью брата. Любовью смертного к привлекательной юной богине, земной от рождения. В пол-ногтя мизинца не было и не может быть поползновений к телесной любовной связи, да

только желания, мысли, капризы прекрасной Роксаны, священные для Гефестиона...

Александр ответил Роксане, что он среди равных, равный, Гефестион знал, что все так, но он слышал... Роксана сказала, и Гефестион первым, за ним все другие греки и македонцы стали падать ниц перед Александром по персидскому способу и обычаям.

Он ведь не знал, что смертью врага Спитамена обрезан лучик любви в душе бывшей Али Рокшанек. В пустоте горьким мёдом бродили желания: пол-мира, весь мир у ног, и, конечно, царские почести. Что оставалось красивой женщине с опустевшим сердцем...

«Уже не воин, но великий царь...» – горько усмехнулся Каллисфен, наблюдая падение греков и македонян к стопам царя Александра.

Каллисфен, племянник Аристотеля – в числе самых близких из приближенных к царю. Гражданская честь и просвещенный ум Каллисфена очень нужны царю и великому государству.

– Мы с тобой, – говорит Александр, – стоим на одной высоте перед всем человечеством. Меня любят и уважают за то, что способен грозить всему миру; а ты не способен грозить никому, но людям нужны твои ум и честь.

Каллисфен, на тему высоты перед всем человечеством, не отвечается.

– Почему? – спросил Александр, – Ты не рад всенародной любви и равенству с Македонским?

– Это погубит меня.

– Каким образом?

– Не знаю, но лучшим образом погубить человека нельзя.

– Не понимаю... – правда, не понимал его царь.

Проблема возникла не в том, что Александр не понимал, а в том, что Каллисфен не стал падать ниц перед тронном царя Александра. Факт очень плох тем, что будет замечен другими. Александр хмурился.

– Каллисфен, это мой триумф! – указал он на отлитую только что, ещё не остывшую бронзу, – Голова Спитамена, щит Дария – величайшие вещи в груди моих трофеев!

– Не могу, Александр, ни Дария, ни Спитамена, внести в число побежденных тобою...

– Дерзишь! – не согласен царь.

– Ни тот, ни другой, не убиты тобой, и не взяты в плен...

– Разве то, что мой враг был убит своими, не делает чести мне?

– Не вижу чести... Дарий убит приближенным, что могло делать честь, как признание твоего превосходства. Но не делает: Дарий убит приближенными лишь потому, что убить повелителя и получить все сокровища сразу – выгодней, чем храня повелителя, получать из сокровищ пригоршни. Твой враг убит жадностью собственной свиты.

– Но, Спитамен?

– Еще хуже! Не герой Детаферн, а посредник в презренной сделке! Ближайшие люди, опора отважного Спитамена, предательски закололи его... Женою убит Спитамен?

– Насколько я знаю, так...

– Народ, за гордость и волю которого был готов умереть Спитамен, согласился жить на коленях. Вожди, ратники, чернь Согдианы, купили мир у тебя. Или ты мне докажешь, что это победа?

– Один из нас творит мир, другой мудрствует в тени моих свершений. И все лишь затем, чтоб оправдать непочтение к трону царя Александра! Мне, – с нажимом сказал Александр, и показал на солнце, – кроме него, смотреть больше не на что: весь мир покорен! Я всюду найду свою тень, а, – скользнул царский взгляд по ногам, не целованным в знак почтения, – а нужен ли мне философ?

– Твоя воля. Но в почестях и удовольствии, царь Александр, ты теряешь себя и свой ключ к победе.

Пир Александра и правда, которой нельзя доверять

Мараканда *(*Ныне Самарканд)* стала центром мира. Царь пиروвал, и ему целовали ноги. Подданным оказалось нетрудно пасть ниц и коснуться губами царских атласных туфель. «Я, – с высокого трона наблюдал муравейник подданных царь Александр, – подарил вам весь мир! Он под ногами. Целуйте ноги!» Мир под ногами – да кто не признает

этого от Македонии до самой Индии?

– Каллисфен! – кулак Александра ударил в блестящее золотом блюдо, и объедки влетели в лицо человека, сидящего рядом с царем.

– Ничего... – отозвался тот, утираясь...

– Каллисфен! – кричит стража, разыскивая философа.

– Приветствую, царь! – поклонился, предоставленный стражей к царскому трону, мудрец. Хмельной Александр взглядом быка, взбешенного непокорностью самки, впивался в лицо Каллисфена. Теряя терпение, шевелил ступнями, обутыми в золотисто-атласные туфли. Каллисфен, остро чувствуя: чаша терпения вот-вот сорвется вниз, не придал значения ерзанию и шевелению пальцев в туфлях ...

Зловещая тишина обездвижила буйный, пирующий зал...

Миротворцем стала жена Александра.

– Не надо... – попросила Роксана, – Пусть свободный, мудрый и честный гражданин, не желает выразить царских почестей своему господину, но пусть поведает миру о делах господина. Пусть мир сам увидит, чего ты достоин.

– Пусть... – неожиданно мягко сказал Александр. И тут же спросил Каллисфена, – Знаешь, о чем эта женщина спрашивает меня под утро? «Почему ты неходишь в Индию?» Я отвечаю: страна прекрасна, но войти в нее – вовсе не то же, что войти в твоё лоно. Мой поход в Индию – не в интересах моей женщины. Почему? Можешь ей объяснить, мудрец?

– Я не слишком близка, – осторожно признала Роксана, –

и чего-то не вижу, не понимаю в моем Александре...

– Слишком близка, – возразил Каллисфен, – и знаешь, что Македонский не ходит по миру иначе, как покоряя его. Это значит, что в новой стране, а она прекрасна, он найдет себе новую женщину. Он честен перед тобой, Роксана: покорение Индии – не в твоих интересах. Тебе более всех в этом мире, выгодно, чтобы Александр остановился.

«Воинственность моего врага, потускнеет в паутине твоей любви» – окунулась Роксана, как в утренний холод дворцовых бассейнов, в слова Спитамена...

Александр, не зная этого, великодушно простил мудрецу его дерзость:

– Возьми, – протянул царь тяжелый, серебряный скифский кубок. – Я не просил бы рассказывать обо мне. Не интересно мне о себе самом слушать. Но просит Роксана, и я согласен: пусть слышат другие и сами решают, а я посмотрю на себя и свои дела со стороны. Мы обязаны, – как утверждаете вы, философы – видеть себя со стороны. Выпей, Каллисфен, а потом обернись к народу и открой ему правду такой, как ты сам ее видишь. До дна осуши мой кубок и говори без оглядки. Будь справедлив. Я молчу, Каллисфен.

В тишине, не естественной пиру, похожей на предгрозовую, Каллисфен вернул пустой кубок.

– Мой царь Александр прав, – сказал он, – каждый способен ошибиться, недооценить себя, поэтому пусть о нем скажет тот, кто лучше других знает цену и смысл им сотво-

ренного. Сердце воина Александра отважно и беспощадно, но открыто любви и способно быть преданным, верным, заботливым. Он чтит человека, оставаясь-царем, гражданином и мужем. Время затянет раны полей, где пролита кровь победителей и побежденных. Но меч Александра, посеявший смерть, принес мир в Азию, раздираемую междоусобицей до вторжения. Теперь две великих культуры открывают себя друг другу. Этот добрый великий процесс обещает быть долгим и плодотворным. Европа и Азия преисполнены светлых идей и прекрасных порывов. Наука двух цивилизаций получит бесценный дар, а народы – благополучие и процветание. Я сказал много, однако не все – ведь Александр не утратил духа, не исчерпал себя...

Роксана слушала речь в переводе с греческого. Видя, что Александр доволен, спросила:

– Действительно, он о тебе сказал правду?

– Да. Он сказал только правду.

– Но он же хвалил тебя. Нельзя доверять такой правде!

– Нельзя хвалить Александра?

– Нельзя доверять такой правде, – повторила Роксана.

Философ с опущенной головой удалялся от трона.

– Каллисфен! – окликнул его Александр., – Нельзя доверять твоей правде!

– Неправильной правды нет, Александр, – ответил философ. – Но она может быть неполной, невидимой, как обратная сторона луны.

– Ты удостоил меня половиной правды?! – грозные нотки пронизали голос царя

Философ остановился:

– Я честно признал, что сказал не всё, потому что ты не всё сделал...

– Это софистика, а я хочу ясности. Пусть не дано мне увидеть обратную сторону луны, но оборотную сторону правды, я хочу знать. Уважай мою волю, вернись и продолжи!

– Вернись, Каллисфен, хотим тебя слушать... – пьяная злость поддержала царя.

Философ покорился всеобщей воле. Александр наполнил и вновь протянул ему тот же, серебряный скифский кубок.

– Наше вино ему кажется горьким... – наблюдая как тягостно долго опустошается кубок, сказала Роксана.

Но вот Каллисфен опустошил свой кубок и опрокинул вниз. Слетели последние капли вина.

– Ты не мог не быть победителем, Александр!

Опережая мысль мудреца о единственном сыне богов и дежурное обожествление мужа-царя, разочарованно усмехнулась Роксана, вздохнула толпа, а Македонский насторожился, по-своему зная философа...

– Твой отец, царь Филипп объединил Македонию и Грецию, создал армию, ввел успешную форму правления в государстве. Он сделал все, чтобы кто-то другой, полный ума, сил и задора еще не растроченных лет, повернул лицо на восток. Заслугами, волей, талантом царя Филиппа, идущий за

ним был уже обречен на победу. Им, Александр, мог стать только ты, отважный всадник, укротивший строптивного Буцефала, достойный сын вождя Македонии.

Недоверчивая улыбка тронула губы Роксаны. Царю и толпе, интересна мысль мудреца, но развязку закажет Роксана.

– Славой великих побед и завоеваний, – продолжал Каллисфен, – был выбран ты, Александр. Но первое, что как военный начальник и царь ты сделал – выжег сердце Эллады*(*Фивы) и Персеполь. И ничего не построил до нынешних пор. По великим просторам прекрасной земли, ты провел за собой огонь и посеял лишь разрушения. Ты уничтожил две древних культуры: Сидона и Тира, культуры других побежденных тобою народов. Потомок эллинов, ты искореняешь греческие традиции в войске, в быту своих граждан. А себя окружаешь сановниками из побежденных персов, не замечая, что сам покоряешься им, перенимая их роскошь и лесть. Улыбка печали ложится на лица воинов, от того что ты, на персидский манер одевая себя, заставляешь теперь целовать тебе ноги... Лучший среди равных, теряешь равенство, Александр. А это ключ...

– Довольно!

Пирующая знать затаила дыхание, в на улице прозвучал плач младенца. Тишина воцарилась предчувствием крови в кругу онемевших людей.

Александр пружинисто спрыгнул с трона, приблизился к Каллисфену.

– Слово философа дорого стоит, не так ли? – ладонь опустилась, сжала рукоять меча. – Но крови не будет – я не хочу. Я стал вдвое сильнее. Я увидел обратную сторону луны, выслушал правду, знаю, кто я, и знаю истинное отношение Каллисфена ко мне. А приходилось тебе, Каллисфен, платить за слова, когда они дорого стоят? – дрожала ладонь Александра на рукояти меча.

Каллисфен не смотрел в глаза Александра, не шелохнулся, не поник головой.

– А я позабочусь, чтобы платил, – пообещал Александр, – уведите его!

Время шутов и жонглеров

Мужество Каллисфена не восхитило царя. Разве что, вспоминая философа, он мог задуматься: чем же Роксане не нравится царский философ? Она же видит: философ честен и справедлив...

Спроси Александр, Роксана призналась бы: прав Каллисфен. «Роксана тянется к свету почести и удовольствий, – считает мудрец Каллисфен, – для тебя этот свет, полководец и воин, губителен!»

Так сказал Спитамен, которого слышали только Рокшанек, ветер и крепостные стены, но философ, проницательный и свободномыслящий, говорит публично.

Правда опасна – знает Роксана. Ей непонятно, почему об

этом совсем не подумал философ?

С того дня Каллисфена никто не видел. В надежде, что Александр не берет своих слов обратно, опасения царицы Роксаны на помилование Каллисфена, затихли, как воронки случайных течений в омуте. Зачем Каллисфен? Превратить Александра-царя, в Александра-воина? Роксане не нужен воин, ей нужен царь!

Глупости, шум и веселье – лучшее средство затмить освещенную дерзким философом обратную сторону правды, и Роксана умело и щедро наполняла дворец жонглерами, танцовщицами и шутами.

Царь, его свита, гости, толпа и даже воины, предавались зрелищам, отдыху и удовольствиям, забывая правду, достоверно и просто развернутую Каллисфеном. А философу выпало вдоволь насладиться свободой и чистотой, которых не было прежде.

Он жил под открытым, свободным и чистым небом, в звериной клетке. Может и не были горькими, как посчитала царица Роксана, последние капли налитого царской рукой вина, но они были последними. Под солнцем, без крыши над головой, только воды Каллисфен получает в досталь: дождливые тучи щедры, и, исключая крышу, не знают границ или царской воли. А крыши над плешью философа нет...

Гефестион не сдержался первым:

– Когда же, – спросил он Александра, – твоя высочайшая воля разрешит нам помиловать Каллисфена? Разве он не сполна заплатил?

– Не думал об этом. А что говорит он сам, о чем просит?

– Просит только папирус, чтобы описывать славу твоих походов.

– Папирус?! Давайте папирус, пусть пишет.

Через полгода, царь вспомнил об этом:

– Много ли написал Каллисфен? Есть что еще сказать?

– Написано много и есть что сказать. Но он обовшивел и умирает...

– Он не говорил о прощении?

– Нет. Сказал, что прощения будет просить у бога, но никогда – у тирана.

– Я не бог, – Александр пожал плечами. – Как могу я простить Каллисфена?!

Поклонись базилевсу!

Неизвестно, в супружеском ложе или иначе, побуждает Роксана к походу в Индию... Может, ее побуждения для царя ничего не значат? Войти в лоно жены, или в Индию – он решит сам?

Но присутствие этой женщины в ложе и судьбе Алек-

сандра, направляет взор великого завоевателя в сказочно-богатейшую Индию.

Не только новую этику, полную блеска и почитания, не только танцовщиц, шутов и жонглеров, внесла в жизнь в жизнь Великого Александра, царица Роксана. Скифы, персы и варвары высоко оценили выдержку, честь и желание Двурогого Искандера сохранить человеческий облик – жениться на пленной Али Рокшанек. Множество родственников, знатных и рядовых, и просто людей, оценивших сына бога с человеческим сердцем, окружали теперь Александра. Союзники, которых он не ожидал... Они знали Индию, говорили о ней, как о стране, полной розовых грёз, с чудесным климатом и неистощимым обилием золота и драгоценных камней.

Скифы были последними, с кем Александр говорил о походе в Индию. Роксана, зная о скором прибытии их многочисленной свиты, не скрыла тяготивших ее сомнений:

– Каллисфен развенчал тебя, а ты не ответил. Спрятал его, а кажется – спрятался сам! А скифы прямолинейн. Ясный ответ, однозначный поступок – такими я знаю скифов. Хочу, чтобы ты понимал, как будешь выглядеть...

– Я предоставлю мудреца Каллисфена всеобщему взору! – понял её Александр.

– Ты же, – припала Роксана к груди Александра, – сын бога, единственный, здесь и на небе... Я помню об этом, сейчас и всегда. Но так должен думать каждый...

– Будут, Роксана. Мы убедим: Каллисфен и я!

В осушении бассейне дворца, идет суета. Не в торжественном зале, а под открытым небом, собрал Александр свиту, гостей, солдат и свободных граждан. По правую руку от Александра, расположились скифы. Горячий от солнца песчаный круг в обрамлении каменных стен бассейна, похож на арену и будоражит предчувствием зрелищ. Непросто царю удивить обывателя, сытого блеском, танцами и шутловством двора. Но, как всегда, Александр непредсказуем, и тихая, праздная болтовня, суета в рядах публики замирают, сменяясь тревогой. Из глубины дворца прокатился к арене грозный звериный рык.

Тишина, та же, мертвая, увенчавшая последнюю речь Каллисфена, вернулась, сковала публику. Запряженные мулы, выкатили к середине арены повозку с клеткой. Испуганный возглас, сквозняком пролетел по кругу. Человеком, который поднялся и вышел из клетки, был Каллисфен.

Изможденный, в косматой, всклокоченной, грязной гриве волос, он старался как некогда, гордо поднять и удержать подбородок. Обнаженный, худой и косматый, не показался он жалким, а походил, может быть, на иссохшего, изможденного ранами, льва.

Ему кинули плащ. Он подобрал с достоинством и надел на себя.

– Поклонись базилевсу! – крикнул старший слуга Роксаны.

В ответ Каллисфен поднял руку, протянув ее солнцу, а, может быть, тем, кто сверлил его в этот миг глазами. И отвернулся, одинокий, непримиримый...

Из дворцовой утробы, внизу, по земле, прокатился, взвизываясь вверх, обволакивая трибуны, звериный рык. Загремело железо цепей, вверх поползли решетки, открывая выход к арене. Над коридором нависли слуги, раскаленным железом и жалами дротиков, выгоняя к арене жестокого зверя. Пахло паленой шерстью.

Человек на арене сжимал в руках свитки. На арену вылетел лев. Слеп на солнце, потрянул головой в безумии от жгучей боли и возбужденных флюидов толпы, нависающей сверху.

Прокатился, меняя угрозу на стон, повторился звериный рык. Пробежав вдоль по краю каменной западни, лев споткнулся, сел, и уставился на Каллисфена.

Каллисфен. обратился к солнцу, которое уходило с неба.

– К тебе, лучезарный Феб, создающий свет правды, к тебе, величайший из просветителей, я, свободный искатель истины и мудрости, обращаюсь с последним словом! Я ухожу из этого мира, где призывал людей выше всего любить свободу, правду и точную истину. Что мог мне сделать тиран, требующий поклонения, равносильного поклонению солнцу? Я рад, что способен послать свой последний привет, тебе, солнце;

что даже плененный и помещенный в клетку, я сохранял гордость свободного ученого, мыслителя и поэта. Мои мысли, моя бессмертная душа, сохранятся в моих записках, переживут меня, и переживут очень многих царей!

– Поклонись базилевсу! – опять прокричали сверху.

– Пришел день, – продолжал, игнорируя крики, философ, – день, который свернет в моей жизни последний свиток. Но дух мой сильнее, бессмертное тела, и он улетит далеко за пределы небесных светил, и будет недосягаем воле великих и мелких тиранов. Моя слава переживет меня, пусть лишен я отечества, дома, друзей. Отнято все, что может быть отнято, но мои дарования здесь, со мной. Тут кончается власть, которая может быть в этом мире.

Александр рассерженно глянул на распорядителя зрелищ. Тот крикнул что-то рабам и во льва полетело копьё. Лев сделал первый прыжок. Второй прыжок сбил Каллисфена. Лев раздавил страшной пастью светлую голову человека. Он рвал в куски грудь и лицо, и, рыча, жевал мясо.

Восторгом горело лицо Роксаны. Это была не Али Рокшанек – Роксана, жена царя. Колыхаясь движением тела, блистали радужные волны ее драгоценностей и украшений. «Мир, – подумал о ней Македонский, – покорят герои, а останется он таким, как она: ничего в этом мире не значащим, не представляющим ничего».

– Гефестион! – позвал Александр, придя в себя после короткого оцепенения, – Рукопись, – указал он на разлетевши-

еся по арене свитки, – сохранить! Пусть знают, что Александр велел сберечь труд Каллисфена потомкам. Внимательно перечитать и размножить! Он осуждал меня?

– Нет, он восхвалял тебя!

– Позаботься, – закрыв глаза, попросил Александр, – Каллисфен заслужил бессмертия...

Слуги-персы, и эфиопы-рабы, добивали льва, вонзая короткие копья и длинные пики в него, уже красного от лучей уходящего солнца и крови. Омраченное кровью, нелепым восторгом и дикостью нравов, удалялось небесное око.

Тускнеющий солнечный луч, проник в мастерскую Лисиппа, скользнул в бронзе печального лика и отразился в гладких орбитах пустых глазниц. Смерть Спитамена не стала бессмысленной – она сохранила жизни тысяч мужчин, переставших воевать с македонцами, а их женщины, дети, не стали военной добычей.

Небесное око могло бы поведать о новом свершении Александра-завоевателя, но вряд ли оно изумило бы Спитамена. Он справедлив: «Получишь с ним всё, что хотела» – сказал он Али Рокшанек. Разве не прав? Счастье он видел с мальчиком, не испорченным страстью к войне и наживе, а не с Александром-завоевателем...

Не изумила бы Спитамена судьба мудреца. Мысли борца и философа параллельны: тиран обуздает толпу, народ, и на-

роды. Уничтожит их нравы и общество, подавит желания и убьет мечты. Он властен над всеми, но скатится к низу своих желаний. Легко укротить народы, с собой совладать невозможно...

Нравственное падение повлекло лавину, выскользнул, потерялся в ней ключ победы. Отдав на съедение мудрость, Александр Великий проиграл поход в Индию.

Не могло быть иначе: не воин, отважный духом, равный солдатам и лучший из равных, вторгнулся в Индию, а вельможа в атласных туфлях. Падали ниц, целовали атласные туфли греки и македонцы, а с высоких спин боевых слонов, взирали на них и крушили фаланги противника, воины великого раджи Пора.

Генрика **Короткий роман-трагедия**

По мотивам Конана Дойла

Корабль уходит в пучину

Бой подарил людям Шарки чудесное настроение. Торговое судно побывало в когтях абордажных крючьев. У высокой мачты, на палубе победителя выростала гора добычи. Цену подсчитывать небу, которое примет души убитых, а победители, еще не остывшие от кровавой драки, на плечах и за пазухой, или в четыре руки, носили и сбрасывали добычу.

Разворачивались, встряхивали руками, и уходили за новой поклажей.

Со следами боя, на лицах, руках и одежде, стояли вдоль борта пленные, а побежденный корабль прощался с миром. Хлопнула глухо из трюмов у самой воды, петарда. Как в жадное горло, в пробитую взрывом дыру, хлынула вода океана. Расцепив жадный прикус, слетели, упали с грохотом на свою палубу, абордажные крючья хищника. Живых и добычи не оставалось на тонущем корабле.

Последний сундук, и охапка, – детали сервиза, кальян, серебро, увенчали рукотворную гору добычи.

– Ну вот, – кивнул на неё капитан, обращаясь к пленным, – вот все, что от вас было нужно! А посудина нам не нужна!

Посудина, раненой птицей, припала на бок. Печально и быстро корабль погружался в пучину. Последней памятью, безголосым криком в устах океана, вскрутилась воронка. Корабль исчез.

Шарки

– Но ведь, – прошелся вдоль строя пленных капитан Шарки, – И вы не нужны... Клянусь богом, наша компания вам не по душе вам! Гляньте! – брезгливо обвел он взглядом свору своих людей.

– Так ведь? – остановился он перед пленным, которому

кровь грубой сабельной раны, мешала видеть и говорить. – Конечно же, так! – взгляделся в его лицо Шарки. – Ну вот... – собрался он пойти дальше, но лицо его вдруг посветлело. Улыбка скользнула по тонким губам.

– Крэд! – позвал он, показав рукой.

Крэд взял за руку, вывел из строя пленника, и подтолкнул к вещевой горе.

– За это спасибо, – поблагодарил капитан, – но, нам не по пути, господа! Мы здесь дома, а вы? Нужны ли нам гости? – задумался он.

И крикнул визгливо:

– Крэд!

В руке Крэда, на солнце сверкнул блеснул кинжал.

– Вы здесь лишние, – пояснил капитан, – а за бортом полно не обедавшей рыбы...

Крэд оттеснил, прижал к борту пленника, запрокинул назад его голову, и без размаха, коротким ударом, всадил нож под ребра. Опрокинутый за борт, несчастный, полетел в океан.

– Счастливо! – сказал во след Шарки.

Рука Крэда легла на плечо другого пленника. Нож мелькал в руке Крэда. Летели тела в океан, вздымались фонтаны искрящейся красным, соленой воды.

Команда ждала, когда Крэд закончит. Глядела на гору добычи. Там было на что посмотреть!

Но главным сокровищем, жемчужиной вырванным из ко-

рабельной утробы, было не это. С лицом, побледневшим блее паруса или неба, смотрела в лицо ораве, женщина. Взгляды, как жаркие, жадные угли, плавил женское тело. Ужас и боль убиваемых мимолетны, а женщина обречена! Ей жить, умирая не сразу, в мерзком огне изошренной, низменной страсти безнравственных, падших людей.

– А, это новенький, ты! – рассмеялся пират, задетый плечом Копли Бэнкса, – Дружище, ты не шути!

Он глаз не мог отвести от пленницы:

– Ведь хороша! До чего хороша, новичок! А-ах, не повезло нам, и тебе, новичок...

– Почему?

– Слишком красива, Шарки съест её сам, не поделится с нами...

– Стой! – крикнул Шарки, и махнул рукой Крэду, – Так не годится, видишь?

Крэд обернулся. Капли крови скользнули с ножа на палубу.

– Он же худой, ты видишь?

Запрокинутый навзничь, через перила фальшборта, юноша, в больших руках Крэда казался подростком.

– Не годится, Крэд! – осуждающе покачал головой Шарки, – Какой прок с него там, – показал он вниз, – какой корм? Рыба над нами с тобой посмеется, Крэд!

Шарки приблизился. Полным сочувствия взглядом вгляделся в лицо обреченного юноши.

Надежда мелькнула там, загорелась...

– Ух-хух! – отозвался Шарки и потряс головой.

Снял с плеча юноши руку Крэда, тепло улыбнулся, положил на плечо юноши руку и, взглядевшись в худое лицо, сказал:

– Видишь, волнуемся. Подкормить тебя, что ли? А там, – да уж бог с тобой, видно будет, – что там... Как думаешь? – глянул на Крэда. И, хмурясь, как человек, подыскавший спасительный шанс, спросил юношу:

– А ты католик?

Юноша закивал. Губы дрогнули в слабой улыбке. Он позволил шутить над собой. И, чтоб не упасть – подкосились ноги – сделал полшага, вперед.

– Протестантом, видишь ли, Крэд, человек не стал. Не успел...

– Не успел? – удивился Крэд, и перекинул кинжал с правой, в левую руку. Он был готов сунуть его за пояс.

– Крэд, – задумался Шарки, – а нам нужны католики?

– Это Вам, – сказал Крэд, – господин мой, знать... – пожал плечами, сплюнул и отвернулся.

– Мы им не по нраву. И тем и другим. Мы ведь не люди – дьяволы, Крэд!

Крэд вздохнул.

– Ну, – предложил он, – не рыбу, а крабов кормить назначим!

– Верно! – одобрил Шарки, метнул руку к поясу, выхватил

нож, и так же, как Крэд, вогнал его снизу, под ребра жертвы. Крэд, не медля, смахнул тело за борт. Прочертив на излете небо, упала на поручень капля горячей слезы.

– Счастливо! – услышав всплеск далеко внизу, спохватился Шарки и приподнял, церемонно шляпу.

Бэнкс

Псом, застывающим в стойке над верной добычей хозяина, должен был себя чувствовать Бэнкс. Его, как и всех, не интересовала судьба пленных мужчин. В прорехе вспоротого грубой, чужой пятерней платья пленницы, светлело незагоревшее, белое, как у всех, кто плыл в Новый Свет из Европы, тело женщины. Блеск жадных глаз на палубе, был готов потеснить даже солнце.

Пират Копли Бэнкс вывел взгляд из потока, и увидел глаза. Жажда горела в глазах пленной женщины, прикипевших к ножу в руке Крэда. Бэнкс перевел взгляд на руки Крэда...

Шарки взбодрился.

– Ну!.. – закончил расправу, и взглядом по кругу, обвел капитан свору своих подчиненных. Положил ладонь на эфес именной, прекрасной, испанской шпаги, сделал шаг всем навстречу. Взмахнул рукой, послал, как всякий пират, проклятие небу, и направился к пленнице.

– В чем дело?! – нарвался он на препятствие.

Перед ним стоял Копли Бэнкс. Рука дерзновенного Бэнкса, на плече пленной женщины.

– Хочешь сказать, что она за тобой? – изумился Шарки.

– Да.

Никто так не смел говорить с капитаном Шарки. Толпа отступила: дьявол отнял языки, в предвкушении зрелищной развязки...

– О-оо! – сорвалось с белых, тонких как змейки, губ капитана, – Ого!

Он вскинул ладони, ловя свет от солнца, потом уронил их на рукояти сабли и пистолета.

– Кто ты такой? – вплавился он в лицо Бэнкса взглядом блеклых по-рыбьему, красных глаз. – Неделю, как здесь, щенок! Первый бой, где себя показал...

– Показал, – согласился Бэнкс, – значит, пёс, не щенок. Первый бой может быть последним, а я... А у меня еще не было пленной женщины.

– Отважная ты, – поперхнулся Шарки, – скотина, Бэнкс!

– Скотина? – не боясь ни дьявола, ни самого капитана Шарки, возразил дерзкий пират, – Да нет: я тебе и другим, добровольно жертвую всю свою долю добычи, в обмен на женщину.

– Добычу ты заслужил, Копли Бэнкс! Я видел, – признал капитан. Проворно, как на оси, развернулся. Листвой на ветру, облетели в толпе улыбки...

Шарки выхватил саблю и пистолет:

– Люди! Да он убил меня! Не было пленной женщины! Господи, пулю мне в лоб, и прости наглецу эту наглость!

Грохнул, окутался дымом пистолет, вскинутый к лицу Бэнкса.

– Так! – улыбнулся Шарки, сдул со ствола дымок и спросил:

– У кого еще не было пленной женщины?

Волны плескали в борта, ниспадая со всхлипом, как женщина в тягостной тишине. Свидетели действия молчали, слыша собственное дыхание.

– Что ж, – многозначительно выдохнул Шарки. Пуля отправилась в небо, развеялся дым, капитан обвел толпу взглядом и обернулся к Бэнксу.

– Молчат! – констатировал он – Что делать? – пожал плечами и усмехнулся, – Ты, видишь Бэнкс, нет таких? Нет! – отвернулся он, – Твоя женщина. Бэнкс, забирай!

Шарки вогнал на место за поясом саблю и пистолет.

В толпе пролетел изумленный вздох.

Бэнкс уходил, увлекая с собой, из круга, прекрасную пленницу. Им уступали сочувствуя, как обреченным, идущим на эшафот. Чем это кончится – кто его знает?! Не знает, может быть, даже Шарки.

Но завтра же Шарки придумает что-то...

Бэнкс тяжело умрет, красиво...

Солнца не замечают в течение дня: есть оно, есть всегда, и о нем не думают. Его замечают к вечеру, когда оно обретает оттенок огня. День отгорел – значит, жизнь стала на день короче. Она и проходит, как день: белый и долгий. Идет долго, стораает быстро...

Багряно блеснул луч закатного солнца, в заплывших глазах канонира Кларка. Дьявол сегодня носил канонира, с другими, на палубу атакуемых. Там он попал в переделку и был бы убит. Удар выбил искры из глаз, опрокинул на спину, жалом змеиным скользнул к груди нож.

Но рядом был Копли Бэнкс. И теперь Кларк смотрел через щелочки глаз на закатное солнце.

«Везет!» – улыбнулся он.

– Смеялся бы ты, – ворчливо напомнил боцман, – не будь с нами Бэнкса!

– А я отплачу! Я уже плачу ему, боцман: Бэнкс в моем трюме, устроил отдельное логово. Ей и себе. Разве этого мало с меня?

– Отдельное логово?

– Да. Привел ее и сказал: «Дружище, мне надо отгородиться с нею!» Взял бочки с порохом, и отгородился.

– Орел! – вздохнул боцман, – А она – ребенок!

– Это, о-о! – канонир закатил глаза в синих щелках...

– Нет. Это – Бэнксу! – хладнокровно заметил боцман. – Но, все же, вдвойне повезло тебе, Кларк!

– От чего?

– И в живых остался, и с тобой Бэнкс поделится первым.

Шарки вряд ли возьмет, после Бэнкса, Но ты – не Шарки...

– А не убьет ее Бэнкс?

– Может. Но и ему жить недолго: Шарки прощать не умеет! Бэнкс тяжело умрет,

красиво...

– Тебе его жаль?

– Сказал бы еще, что завидую, дурень...

Генрика

Стены отгородили Бэнкса и женщину от остального кошмарного мира. Паук хочет съесть женщину сам, в своем логове, или съест самое вкусное, а остальное – другим паукам. Мелькает бредовой картиной кинжал в руке Крэда...

– С порохом на корабле не шутят! – заверил Бэнкс, и вслух оценил надежность логова, – Мир не видел подобных вещей!

Зачем миру видеть подобные вещи? Мелькает кинжал в руке Крэда: кинжал лучше съедения! Женщина закрывает глаза... Большая ладонь ложится на обнаженное разорванным платьем, плечо.

Она содрогнулась, ожидая рывка, который, кромсая тело нестриженными ногтями, срывает платье. А он... Он медлил, вглядываясь в крепко зажмуренные глаза.

– Нож Крэда лучше? – неожиданно спросил.

– Да... – ответила женщина, не размыкая зажмуренных

глаз.

– Когда-то, и я очень сильно, хотел умереть...

Она не могла верить пирату, помня изысканность Шарки.

– Вы живы... – сказала она очевидное.

– Вы тоже.

– Убейте...

Паук не вплетал свою жертву в объятия, медлил...

– Рвите! – не вынесла мук ожидания женщина, и вжала в своё платье пальцы пирата. – Живой, ты меня не получишь, Бэнкс!

– Невозможно такое, – заметил Бэнкс.

Он прав: силой мысли убить невозможно, даже себя...

– Однако, Вы правы: хотел, но ведь жив...

Корабль погружался в пьянку. «Бэнкс! – всё громче кричали пираты, – Ты не обессилел? Еще не устал? Не нужна ли помощь? Не забывай нас, дружище!»

– Понимаете их? – спросил Бэнкс.

– Когда ты убьешь меня, Бэнкс?

– Как Вас зовут?

– Генрика...

Воронка – мучительный выдох уходящего корабля, вскрутив на последнем, мучительном выдохе, воду, растаяла, стерлась бесследно. Зачем он спросил ее имя?

– Как думаешь? – с кружкой вина, набрел на хмельного и

доброего боцмана, Кларк, – Что делает Бэнкс?

Боцман взялся за голову, посерьезнел, не выдержал и расхохотался. Ладонью бил в плечо Кларка, и хохотал.

– Ты сумасшедший, боцман!

– Не дождешься ты, Кларк! Не дождешься!

– О чем ты?

– О пленной женщине!

– А это он, тебе нос расквасил? – сдернув Кларк шляпу, плюнул на тулью и вытер засохшую кровь над губами боцмана.

– Он, потому что я задал ему твой вопрос.

– А она жива?

– Кажется, да, жива...

– Спасибо, – неожиданно поблагодарил Копли Бэнкс, и зажег свечу.

– За что?

– За то, что сказали имя.

– Нужен свет, чтобы видеть боль?

– Нет, я просто не прячу глаз.

– Убиты мой брат и отец, и мне не больше не видеть их глаз ... Зачем мне твои глаза, Копли Бэнкс?

– Нам придется быть вместе... Но можете просто и навсегда пресечь всё это, – Бэнкс взял свечу и поставил её между собой и Генрикой, – Достаточно бросить, и порох поставит точку!

«То, что не сделал нож Крэда, сделает пламя, – ясно осознавала Генрика, не сводя глаз с огонька свечи на полу, между собой и Бэнксом, – и так даже лучше...»

Обман, или насмешка пирата?

Утро, подняв над ленивым бризом туманные клубы, открыло на горизонте город. Шарки его рассмотрел с капитанского мостика, убрал подзорную трубу, и велел позвать Бэнкса...

– Твоя пленница, Бэнкс, и ты – неплохая пара, чтобы пойти, осмотреть городок. Ты ее не покалечил? Можешь продать её там, а потом еще раз возьмешь в плен, отобрав у того, кому продавал. Надо пойти и разведать город под видом простых горожан. Замысел понят?

Взрезывал веслами волны, гнал ялик Бэнкс, и смотрел на Генрику. Не мог миновать его взгляд подневольной спутницы: по курсу город, а позади пиратский корабль в дрейфе. Что еще нужно пирату – орава там, за спиной, и добыча перед глазами...

«Разочарован в пленнице? – пыталась понять его Генрика, – Обменяет, или продаст?»

Корабль, как черный паук, уже далеко, а Бэнкс не сказал ни слова.

– Можете забыть мое имя, и мы простимся, – разомкнул он губы, когда ялик ткнулся в песчаный берег.

– Простимся, и я окажусь вон там? – переведя взгляд от

бронзы песка на небо, спросила Генрика.

– Я не убью Вас. Причалил подальше, чтобы не знали, с какого Вы корабля. Идите.

Бэнкс спрыгнул, вытянул ялик на сушу, и протянул руку. «Обман, или насмешка пирата?» – не понимала Генрика. Она вышла на берег, не подавая руки.

Бэнкс вскочил в ялик, и занял место гребца: спиной к берегу. Весла без всплеска упали в воду. Он первым забудет – зачем ему её имя?

Он рвется уйти, всё сказано. Гром прогреми – не услышал бы, но не гром прогремел, тихий голос окликнул с берега:

– Бэнкс...

Вёсла застыли в руках...

– Ваши люди убили всех. Я одна, Бэнкс...

Не упал огонь в горку пороха и все живы, но за спиной, одинокой свечкой на алтаре заброшенной церкви, остается фигурка. Бэнкс вонзил весла в воду, и рывком, вогнал лодку обратно, в берег.

– Идемте, Генрика!

– Продал? – увидев, что Бэнкс, возвращался один, изумился Кларк, – Жаль! Очень жаль, я бы отдал тебе две своих доли!

– В твоём сундуке есть женское платье, – взял его за руку Бэнкс.

– А... – опешил, но вспомнил Кларк, – той, прекрасной

испанки? Оно совсем новое.

– Возьми серебра, сколько нужно, – развернул Копли Бэнкс мешочек с металлом, – отдай мне платье.

Серебро лучше платья, и Кларк согласился. Бэнкс сошел в ялик, и снова исчез. «Что он с ней сделал?» – попытался представить Кларк. Но Бэнкс выиграл больше: купив платье за пригоршню серебра, продаст его вместе с женщиной, за четыре пригоршни.

Кларк не мог бы представить, что сделал Бэнк, вогнав лодку в берег:

– Это мой город, – сказал он Генрике, – об этом не знает Шарки, но, знайте Вы.

Она сама подала руку, и Бэнкс привел её в одинокий дом на высокой горе, над городом.

– Пуст, как и я, – сказал Бэнкс, – такие дома уходят: садятся в землю по самые окна, потом исчезают совсем... Это хороший город, – кивнул он вниз, – я знал и любил его раньше.

– А теперь?

– Теперь он не для меня...

– Тебя там повесят?

– Думаю, что должны*... (*Общество и государства жестоко преследовали пиратский рэкет. Вешали без промедления, чаще всего, на корабельной рее...) Твой дом, Генрика. Пусть будет твоим. Здесь всё, чтобы жить. Даже свечи, что-

бы ночь не казалась тьмой.

– Ты уходишь?

– Должен.

– Кому?

– Глупо терзать меня, Генрика, – недружелюбно заметил Бэнкс.

Промелькнул в глазах пистолет негодяя Шарки. Слепящее солнце и ужас в глазах, прочертили картину: падает навзничь пират, убитый другим пиратом. Но растаял дымок пистолетного выстрела, жив отважная дрянь Копли Бэнкс, и у него есть пленная женщина. Зачем – не понимает Генрика...

Бэнкс прочитал её мысль, уходя, обернулся.

– Вот так, – взял руку Генрики, и провел от груди кверху, наискосок, – перечеркните всё и забудьте меня навсегда!

Такого Кларк не представлял. Но две доли остались в сохранности, плюс серебро. Кларк довольно вздохнул, и сказал капитану, что Бэнкс возвращался, и снова исчез...

Бэнкс ушел не прощаясь, вычеркнув себя рукой Генрики. Птица отпущена, и забыта, а выживет ли на воле? – думать не стал. Но чище, светлей становился воздух, от мысли, что нет больше Бэнкса и мерзкой оравы, в абордажном прыжке опрокинувшей мир, нет подонка Шарки.

Рука потянулась к свече. Не обжигающий, светлый огонь, кистью художника-акварелиста скользит во тьме, затирая

имя пирата Копли Бэнкса... Он сам так хотел...

В рассветных лучах, обрамленных проемом открытой двери, она видела Бэнкса. С его плеч, заставляя щуриться, струилось солнце, мешая видеть лицо и глаза, но Генрика знала – он...

– Ты сделал всё, – прошептала Генрика, – даже дом... и свечи, чтоб не было тьмы...

– Не всё, – протянул он руку, мягко поправил рваную ткань на плече Генрики. – Я тебя вычеркнул, правда, но ты осталась раненой птицей. Я покажу тебе дом, и твой новый город. А потом мы двойной чертой меня вычеркнем, дважды, Генрика!

Холодные взгляды сопровождали их в городе. Бэнксу кивали приветствуя, и отзывались, на два-три слова. Но, обернувшись, Генрика замечала другие глаза тех же самых людей: готовность к расправе над Бэнксом, читалась в них...

Не думая, она прислонилась плечом и взяла его под руку. Бэнкс не решился вырвать её в перекрестье небесного света и глаз обывателя...

– Я слишком легко ошибаюсь, – признался он у прилавка с одеждой, – постарайся сама выбрать платье по вкусу...

– Все ошибаются, Бэнкс.

– Не надо платить за платье, которое будет тебе не по

нраву...

Он не вырвал руку, и не заметил, как перешел на «Ты».

Тревога не покидала Генрику: «Могут повесить?» «Должны» – отвечал он сам. Она ощущала взгляды тех, кто «должны», и старалась не выпускать руки Копли Бэнкса...

– Хочешь увидеть меня в новом платье?

– Достаточно знать, что платье тебе по-нраву, видеть не обязательно.

– Уходишь?

– Пора знать своё место.

– Разве там оно, Бэнкс? Твой дом...

– Был моим. Теперь в нем давно не живут цветы.

– Ты любил цветы?

– Да. Здесь их всегда было много.

– А ты знаешь, какими глазами глядят тебе вслед?

– Знаю.

– Почему так?

– Они меня помнят другим.

– Ты и есть другой...

– Это добрая выдумка, Генрика. Забудь обо мне! Ты вырвалась с моего корабля, и я тебе больше не нужен!

– Ты меня вырвал!

– Нет, ты сама. Это правда, могу повторить – сама!

«С первой минуты не понимаю его...» – про себя признается Генрика. А он попросил:

- Перечеркни меня, Генрика.
- Двойной чертой?
- Да, дважды!
- Перечёркивай! – подала она руку.

Он уходил.

- Что случилось с тобою, Бэнкс?

Но он был за чертой, за которой не слышат, откуда не возвращаются. Сумерки помогли ему навсегда исчезнуть, как только он вышел за дверь.

Судьба Копли Бэнкса была решена...

«Скотина!» – ругался Шарки, понимая, что Бэнкс не вернется, пока не продаст свою женщину. Только дурак бы, отдав свою долю за женщину, остался ни с чем.

«Негодяй!» – считал Шарки, потому кто все, кто дерзил капитану, давно были на небе, а этот коптил небо снизу! «А не должен коптить небо зря, – решил Шарки, – Иначе я ничего не стою!»

– Всё! – хлопнул он кулаком по фальшборту. Судьба Копли Бэнкса была решена.

Бэнкс бросил в море платье прекрасной испанки, и взял в руки весла. Хватило ума сдержаться и не подарить его Генрике. Поступок, бывший вчера нормальным, сегодня казался чудовищным – платье в подарок из рук пирата! Добыча

с кровавой квитанцией – вот что, по сути, пиратский подарок...

Платье прекрасной испанки, замученной на корабле Джона Шарки, медленно набирало соленую горечь и погружалось в пучину.

«Что случилось с тобою?» — Бэнкс это слышал. Тонет платье убитой испанки, не ускользнувшее сразу, ко дну, не уплывшее в океан. Исчезает, медленно погружаясь во тьму и пучину, на глазах Копли Бэнкса.

«Что случилось?» – задумался Бэнкс. За спиной, в океане, в сумерках, корабль под черным флагом. Там пушки, и abordажные крючья. «Пора знать своё место»... Там место пирата Бэнкса – на борту, с которого в шлейфах кровавых уходят в пучину люди, вина которых в том, что пиратам нужна добыча.

Он держал руки на веслах. Рывок – и насовсем разорвется спонтанная нить между ним и Генрикой. Рывок – и пусть только богу будет известно, чего хотел Копли Бэнкс, отбивая женщину. Дьявол не получил свое – вот и все, что сделал Бэнкс.

Тонуло платье убитой испанки, на глазах Копли Бэнкса. «Что случилось с тобою, Бэнкс?»

«Но, – посмотрел Бэнкс на звезды и рассмеялся, – что я скажу: «Генрика, надо купить еще одно платье»?!. Весла не опустились в воду, но и вернуться к Генрике повода нет.

– Святая троица! Так я должна сказать? – прошептала Генрика, видя снова, и в тех же, слепящих лучах ясного, раннего солнца, лицо Копли Бэнкса.

Она была перед ним в новом платье.

– Нравится? – глянула Генрика из-под бровей. И отступила, впуская гостя.

– Да, – гася в глазах звездочки восхищения, сказал Копли Бэнкс. И добавил: – Троица, три – окончательный счет! Сегодня шагну за порог в третий раз, и...

– Ты же просил, я тебя забыла. Но ты вернулся...

– Значит, я не сумел забыть...

Она сделала шаг назад, и Бэнкс изумился: на подоконниках; полочках в кухне; в прихожей, над аркой-проемом в спальню; и в спальне – везде цветы...

– Ты ждала?

– Не знаю... Знаю, что ты любил цветы...

Хмурился. Руки за спину, гулял взад-вперед, пинал, все, что можно смахнуть ногой, капитан Джон Шарки: не появлялся Бэнкс!

– Боцман! – крикнул он, наконец.

И поставил задачу:

– Я беру инструменты для кренга,* (*Трудоемкий и долгий процесс: кренгование – очистка днища судна от ракушек и водорослей, наросты которых значительно замедляли ход. Пираты для этого прятались в дальних, надежных бухтах) и

пробую их на палец. В хорошем случае, я промолчу. А в плохом – почешу твою глотку!

– Я приготовлю, босс! – заверил боцман. «Скотина! Генри меня зовут!» – добавил он про себя. Шарки не называл, никого, по имени.

– Генрика, – сверху вниз, как библейский пастух, на пастушку, смотрел Копли Бэнкс, стараясь при этом пастушки не тронуть рукой, – должен вот что сказать... Ад, в котором ты побывала, дает тебе право на счастье. Ты должна быть счастливой!

– Что случилось, бэнкс?

Ладонь капитана Шарки, сложилась в кулак, и влетела с размаху в широкую планку фальшборта.

– Поднять паруса!

И снова ладонь полетела к фальшборту. Оттуда, россыпью искр в глаза, резанула боль: замешкал, пальцы не сжал в кулак Джон Шарки.

«Бэнкс! – грязно ругнулся Шарки, потряс зазвеневшей от боли, ладонью, и взял себя в руки, – Увидимся, Бэнкс, паскудный продавец пленных женщин!»

– Мерзавец! – стучал он кулаком по фальшборту. Боцман, услышав, не понял о ком, и подумал: «бог с ним!» – считая, что это о нем.

– Они тебя бросили, Бэнкс! – сообщила Генрика.

На горизонте, не было корабля капитана Шарки.

– Это судьба ... Я не боюсь! – она привлекла к себе Бэнкса, и растянула массивную пряжку пиратского пояса. Оружие, рухнуло на пол. Бэнкс проигрывал бой, который сам не решился выиграть. Ладони его и Генрики потянулись друг к другу. Входили к вершинам руки – на грудь, и к плечам друг друга, и ниспадали, не отрываясь, как водопадные струи от омываемых скал. Тела прогибаясь в незримом потоке, теряли земную опору, тянулись навстречу, теряя отдельность, отдаваясь, друг другу!

В миг, когда тело, в предчувствие боли: «Первый мужчина!» – зависло над бездной, Генрика ощутила отрыв.

– Я ждала тебя, Бэнкс!

В единстве: Генрика-Бэнкс, взмывали к искрящимся белым вершинам высоких гор, и плавно скользили в долину, вниз. И вновь в высоту, где сладко кружит виски от недостатка воздуха.

Двадцать дней счастья. Двадцать дней не видела Генрика черного паука – корабля капитана Шарки.

– Нас увидел бог, и тебя забыл Шарки... – говорила она Копли Бэнксу. – Нас увидел бог, и мы вместе. Иначе нельзя. И тебе нельзя – я же твоя половинка, Бэнкс...

– Человек был один... – вслух задумался Бэнкс, – Ни мужчина, ни женщина – человек единый. Но он развивался и по-

стигал окружающий мир. Подчинил огонь, изобрел колесо, стал плавить металл, зарождались науки. Совершенству предела нет, и человек стал посматривать в сторону неба. Боги насторожились. И, боясь посягательства на свою всемогущую власть, разделили человека надвое. С тех пор, мы не смотрим в сторону неба, не посягаем на власть богов. Мы ищем свою половину.

– Я же нашла...

Бэнкс отвел глаза.

Мы взлетали выше высоких вершин, и падали ниже земли, а ты не сказал о любви ни слова. Почему, Бэнкс?

– Есть камень...

– Ты снова уйдешь?

Бэнкс молчал.

«Пусть утонет корабль капитана Шарки! – молилась Генрика, – Исчезнет бесследно и навсегда, как исчез тот, на котором шли в Новый свет мы с отцом и братом...»

– Ты удивительный человек, – призналась Генрика, – Пират был со мной на «Вы»... – улыбнулась она, развела руками, – Но не понимаю тебя, с первых мгновений на том корабле... Я брала в руки свечу, чтобы бросить её в горку пороха. Пламя металось, плавясь от взгляда. Свеча отгорела, погасла в моей ладони... Но ведь всё кончено, Бэнкс, они тебя бросили, видишь...

Генрики верила в это, прошло двадцать дней без Шар-

ки, а время и добрые чувства способны разрушить камень. Взгляд потянулся к окну, и замер: в лучах уходящего солнца, на горизонте возник и застыл черный паук корабля капитана Шарки. Наступил двадцать первый день.

– Прости! – сказал Копли Бэнкс, и ушел, не прося его вычеркнуть в третий раз.

В окно, вместе с солнцем и небом, пятном роковой паутины вплетался ждущий у горизонта корабль капитана Шарки.

Шарлотта

У дома Шарлотты звонил колокольчик.

– Шарлотта? Я – Генрика. Хотела увидеть Вас...

– Вы были у Бэнкса?

– Да...

– Не удивляйтесь. Просто я знаю, откуда такой колокольчик.

– Он сказал, что Вы... что когда трудно, я могу обратиться к Вам...

– Безусловно, можете. Проходите!

Вежливой, бодрой и одинокой Шарлотте, за семьдесят – знала Генрика.

– Вы любите виски? – спросила Шарлотта, принимая гостью за столиком под деревьями.

– Нет, – удивилась Генрика, – я не знаю...

– Может, пираты не пьют теперь виски? А я изволю...

На поясе старенькой, хрупкой Шарлотты, наискосок, тя-

жело и грозно висел пистолет.

– Шарки! – пояснила Шарлотта, —Его корабль, – кивнула она к горизонту, – Когда есть, на помощь небес рассчитывать глупо! Они для него – ничто, потому, что Шарки – дьявол! И даже не знаю, был ли он человеком!

– Может быть, я приду завтра...

– Не надо! – остановила Шарлотта, – Тебе показалось, что Бэнкс вернулся? Нет, не вернулся. И, слава богу, уже не вернется!

Возвращение Копли Бэнкса

– А-а! Вернулся! – встретил Джон Шарки, – Я знал. Может – да пусть подтвердит это дьявол – ты и лентяй! Не хотел чесать пузо моей посудыны? Ладно. Ты нужен мне, Копли Бэнкс! Отгремит, – показал он на небо, – и мы потолкуем.

Чугунными ядрами по деревянной палубе, глухо катились слова капитана. Поднимаясь из океана, со всех сторон света, над кораблем смыкала клубящийся, синий шатер грозы.

Немеет боец, слабый духом и глохнут в пространстве звуки.

– Ты не против? – уставился Шарки в глаза Копли Бэнкса.

– Нет, я не против.

Открыть эту книгу

– Мы можем пойти на веранду, если вам неспокойно. Или

укрыться в доме. Но она, – показала Шарлота, в сторону жуткой, съедающей небо, штормовой синевы, – не состоится.

– Как? – усомнилась Генрика. Холод, тревога, и запах тины, витали в воздухе. И настолько близки эти синие тучи, что до них можно будет вот-вот дотянуться руками...

– Я слишком стара, чтоб не чувствовать это. Не всё, что мы ждем, состоится, Генрика! Судьба и стихия – они в этом схожи.

«Ребенок, который еще ничего в этой жизни, не видел! – улыбнулась старуха, – Что я сказала ей? Что Бэнкс не вернется? Правду сказала, а у нее подкосились ноги...»

– Ты его любишь?

– Да.

– А он?

– Не знаю...

– Не удивляет... – вздохнула Шарлотта.

– Вы злитесь? Он что-то сделал плохое?

– Мне? Абсолютно нет. Но, в этом ли дело?

– А в чем?

– Видишь отсюда? – спросила Шарлотта и указала ладонью, – Пустырь. Там был его дом...

– Он есть!

– Понятно, – Шарлотта смерила Генрику взглядом, оценила, как женщина женщину, – Жена, и две дочки, – продолжила Шарлотта, – Всё было у негодяя Бэнкса. Он ходил на охоту, а дома делал вещи из серебра. Они есть у меня, и у

многих. Прекрасно делал, а Шарки, разрушил все! Он сжег половину города. Шкуры и серебро в доме Бэнкса решили судьбу. Дом ограблен, семья убита. Бэнкс вернулся с охоты к остывшему пепелищу. Он говорил об этом?

– Нет. Я ничего не знаю...

– От горя, в те дни, он хотел умереть. Но, легкую смерть, небеса дают грешным... Бэнкс тосковал и молил бога, чтоб тот покарал Джона Шарки. Но, ты не знаешь Шарки, девочка! К нему даже смерть брезглива! Не щадя прокаженных – его пощадила проказа. Красноглазым, как рыба, остался он после болезни, но переболел и выжил. Команды его бунтовали. Бросали на диком острове; в шлюпке, без весел, среди океана. Он выбирался. Его настигали. Жажда победы и мести, оружие, и справедливость – все было на их стороне. Но каждый из них, нашел место на дне. Каждый, кто нашел смелость поднять глаза в глаза капитана Шарки, мёртв. Шарки был в тюрьме, и ждал казни. На крепостной стене ожидала пушка – выстрелом известить о том, что петля затянулась на шею дьявола. Пушка осталась заряженной, выстрела не было, а губернатор, вершивший праведный суд, уснул в кресле с высокой, гербованной спинкой, с перерезанным горлом. Таков он, Шарки! У него покровитель, который сильнее нас всех, покровитель, плюющий на бога!

– Я видела Шарки.

Шарлотта прищурилась, выпила виски:

– Не шутишь?

– Нет.

Шарлотта наполнила свой бокал виски.

– Но, ты жива...

Шарлотта махнула бокал до дна, посмотрела на солнце. А не было солнца за синевой грозового неба.

– Бэнкс? – догадалась она. – Он тебя вытащил, девочка, да?

– Да. – подтвердила Генрика, – Он хорошо отзывался о Вас.

– Он часто бывал у меня, в моей библиотеке. Книга меняет мировоззрение, знаешь об этом? Нет? Книга дает постижение мира, она может быть точкой опоры для рычага, который опрокинет весь мир. Книга... – вдохновилась, и осеклась Шарлотта, – налей мне виски...

– Вот в чем беда, – отхлебнув, призналась Шарлотта, – Бэнкс искал истину в книгах, которые брал у меня. Я знаю все книги, что он читал... Но... – печально вздохнула Шарлотта, – он в них ничего не понял! Покорность библейской овцы понятна, но Бэнкс – человек, оказавшийся духом ниже овечки. Негодяй вырезает семью, а овца, уцелевшая отправляется на поклон к негодяю и отдается ему. В книгах подобное есть: негодяй из души выдирает невозполнимое, и человек с опустевшей душой сам идет в негодяйскую пасть – кролик идет к удаву. Игрушка с пустой душой в подлых руках – вот кто теперь для меня Копли Бэнкс! Такие жестоки и бессердечны. Прости меня, девочка, очень жаль! Бэнкс –

конченный, падший, а мне – мне есть что защищать! – улыбнулась она, и кивком указала на пистолет.

– Библиотеку?

– Конечно!

– Налейте мне виски, Шарлотта...

– Правильно, девочка! Выпьем, и я тебе больше скажу.

– Скажите...

– Бэнкс забыл обо мне, и о книгах, когда стал жить один.

Ты могла заметить: с камня, возле которого он сделал дом – лучшая точка обзора в округе, а лишайник на камне очень похож на карту Англии. Бэнкс не случайно всё это выбрал – бывший мечтатель...

– Но, ведь хорошие вещи Вы говорите о нём.

– Я не боюсь сказать правды, как не боюсь взять оружие в руки. У нас две беды. Первая – это пираты, вторая – змеи. Забудь его, Генрика! Бэнкс – пират, которому место в петле, на рее!

– Он говорит мне так же...

– А ты не веришь?

– Почему-то, не верю...

– Ты ему чем-то обязана?

– Да. Но он не считает так.

– Ты нужна ему, знаешь зачем?

– Я его просто не знаю.

– Глупость имеет лицо или ангела, или ребенка, – вздохнула Шарлотта, – Ты побывала в кошмаре, и не понимаешь –

тебе повезло! Уцелела, но вместо того, чтоб бежать от пожара – ты шутишь с ним! Это пират, Генрика! Бэнкса, как человека, нет! Змея, сбросив кожу, второй раз в нее не влезет. Не понимаешь?

– Раньше Вы, кажется, этого человека любили?

– Теперь ненавижу! Бывшее золото, а ныне – презренный металл! И тем горше, что мог быть золотом очень хорошей пробы! Я это знала, иначе бы просто не стала тебя убеждать...

– Судьба, о которой Вы говорили, сломала Бэнкса...

– Сломался – это бы умер или смирился. Я первой бы пожалела. Но он – с Шарки!

Она отхлебнула виски. И долго смотрела на Генрику, подбирая слова.

– Не убеждаю, Генрика?

– Убеждаете. Но Вы говорите о человеке, как о куске металла.

– А он кто?

– Думаю, каждый по-своему, мы чем-то схожи с цветами. Разного сорта, убогости и красоты. Мы из живой ткани сотканы.

– Иллюзии, – не сразу отозвалась Шарлотта, – Ты легко согласилась с грозой: конечно, ее ведь почти можно было потрогать руками. А где она?! Не всё, что мы видим – реально, не все, чего ждем, состоится. Судьба и стихия, схожи...

Генрика посмотрела в небо. Не было там грозы. Ни следа!

Она растворилась. Только в солнечном диске, остался суровый багрянец – памятный след исчезнувшей бури. И тревога, как предзнаменование... Тревога витала в воздухе...

– Я предсказала: не будет грозы – её нет. И Бэнкс не вернётся, думаю так! – поставила точку Шарлотта. – Он был первым мужчиной?

– Да.

– Не обольщайся! Он скажет, что ты прекрасна, и ты каждый день будешь слышать, что ты любима. Но, Бэнкс – пепелище! Какая душа?! Призрак, как эта гроза – вот кто он, Копли Бэнкс!

– Похоже на приговор...

– Которого он достоин! Разочарованный в жизни – зло! Или катится вниз, или мстит окружающим. Ты не видишь главного! Знаем истину: «Раскаявшийся грешник стоит»... правильно – десяти праведников. Но падший праведник – он чего стоит? Падший праведник в десять раз хуже грешника. А это же он, моя девочка – Бэнкс! Чтобы добиться женщины, мужчина, как на лицо улыбку, натягивает поступки. Дешевка, а женщина воспринимает их чистой монетой. Он чем отличился?

– Дым пистолетного выстрела прямо в глаза...

– Показное!

– Кровь на кинжале. Кинжал под ребра... Я это видела...

Вы не поняли Бэнкса, Шарлотта...

Шарлотта грозно свела брови на переносице.

– Я не знаю, – призналась Генрика, – этого человека так хорошо, как Вы. Он отважный и добрый, но что там, внутри – мы, кажется, обе, не знаем...

– Камень внутри, – подсказала Шарлотта, и отхлебнула виски.

– Понимаю, он сам говорил... Но вижу его человеком, захлопнувшим книгу, которой он дорожил.

– Так на что он похож, на цветок или книгу?!

– Похож на цветок... и на книгу...

– Чего же ты хочешь, девочка?

– Хочу, чтобы снова открыл свою книгу.

– Зачем тебе это?

– Каждый имеет право быть понятым и прощенным. Поверить в себя, и снова открыть свою книгу – я ему помогу, Шарлотта.

Шутка морского дьявола, или знамение бога

Вздых штурмового предчувствия, холодной струей прокатился по палубе. Прошипел по-змеиному в реях и сетях оснастки, повесил в воздухе запах тины, и стих. Звенящая тишина сошла с неба к воде. Соринка, застрявшая в паутине, не шелохнулась...

Пауза для молитвы смертному – и грянет шквал... Так всегда. Такова природа. «Но, – посмотрел Бэнкс на небо, – кажется, мир поменял привычки...» Грозная синь уходила

с неба. Сверкнуло расплавленным диском кровавого золота солнце, сгоняя последние тени несбывшейся бури. «Рыбий глаз капитана Шарки!» – подумал о красном солнце Бэнкс. – Но где она – мощь нерастраченной бури? Кто-то присвоил её, и нанесет удар позже?»

– Шутка морского дьявола, Бэнкс, или знамение бога! – услышал он за спиной бодрый голос Шарки, – Шторм погрозил кулаком, повернулся и сник? Лентяй или трус, поступают так же! Бэнкс, ты мне нужен! Идем.

Шумела хмельная компания в капитанской каюте.

– Сегодня большая пьянка, Бэнкс! Грозу отменили, и я нашим людям дал волю надраться.

Хмельные люди играли в карты и в кости. Счет, как обычно, ссорил людей.

– Хватит! – Шарки достал пистолет, постучал по столу рукоятью, и указал на дверь.

– Вон! Всем, вон!

Черный глаз пистолета, поочередно, от одного, к другому, оглядел побледневшие лица.

Таких, кто не понял бы Шарки, не было. Бэнкс и Шарки остались одни.

– Теперь их не будет близко, если не вызову сам! – улыбнулся Шарки, и убрал пистолет.

Огромным ножом, как доской, разгребая еду и объедки, расчистил место, и пригласил к столу.

– Я знаю! – сказал он грозно, – Зачем ты просился на берег. И что ты там делал – знаю!

Вцепился глазами, выдержал длинную паузу. Потянулся, налил себе виски.

– А что говорила команда – знаешь? О тебе, недостойные вещи Бэнкс! Знаешь?

– Я их не слышал, Шарки.

– И правильно делаешь, Бэнкс, потому, что и я их не слушал! Выпей со мной, капитаном Шарки.

Протянул бокал Бэнксу, и подхватил свой. Бокалы столкнулись в приветствии:

– А к моим словам ты относишься также, Бэнкс?

– Я помню, что ты говорил.

– Так знай: никогда не беру своих слов назад.

Кошка с мышкой играет так же: дает шанс бежать, и – хлопок лапой сверху! Снова отпустит – беги, и снова, лапой. А поиграет – съест. Игра придает удовольствие трапезе.

– А как слово сдержать – я забочусь сам: как хочу, и когда хочу. Мое дело! Надо выпить, Бэнкс!

Сходились бокалы, сплетались узлы разговора.

– Но ты прав, Копли Бэнкс: прелести пленной женщины, несравненно выше! Потому что согласие даст тебе столько, сколько дать согласятся. Но, когда жизнь и тело в твоих руках – ты получишь все! Сладкий яд! Но я знал, что ты вернешься, и будешь хотеть еще и еще того же, чем наслаждался! Я вовсе не против: женщину можно всегда поделить. Не с

ними, конечно, – кивнул Шарки в сторону, – только не с ними! Ты думаешь, почему эти люди со мной? Много общего? Ублюдки, которые ползают в тине, и не способны подняться взглядом, выше собственной переносицы... У меня с ними много общего?

– Нет! – отвечал он сам, – В них нет ничего, кроме маленькой страсти и жажды наживы! Я знаю им цену. Они ничего не стоят! Я сам убивал их. За дело, случайно, и даже так, наугад – скрестив под столом пистолеты – кому повезет. И убил бы на палубе, в тот день, любого! Они это знают. А мне наплевать, я им нужен, не меньше, чем господь бог, – потому, что я им даю насытиться. Вот почему эти люди со мной! Не они – я им нужен, Бэнкс!

Но я не хочу ползать в тине. Они говорят о тебе недостойные вещи, потому что их птичьи мозги понимают – ты выше их! И говорят затем, чтобы я этой разницы не заметил и не оценил! Хочешь, мы выйдем на мостик, и я им скажу: «Гуд бай! Уезжаю к маме. Все оставляю Вам». Ну, я же не заберу, с собой, к маме, корабль и пушки?!

И что? Они будут довольны? Вздохнут и расслабятся, да? Потому что меня боялись и ненавидели, Бэнкс?

Бэнкс кивнул. Достаточно, чтобы понять, что он слушает Джона Шарки.

– Но, те, кто ненавидит, получили меня таким, каким заслужили. Они сами: их алчность, их жадность, превращают меня в исчадие ада. Не будь золото дороже жизни – не было

бы пиратства! Жирные свиньи, набитые золотом – испанские галеоны, положили начало пиратству. Моя изощренность – старческий шепот в сравнении с тем, что творят те свиньи, набивающие утробы золотом! Вырезают всех: от младенца до старика, чтобы скосить золотые колосья, набить необъемные пазухи золотом. Имей это золото совесть – блеснуть не посмело бы!

– Но я о себе, и своих убудках, – сбавил тон Шарки. – Не избавлением для корабля и команды, будет мой уход – потерей. Они потеряют власть над собой. Я с любым поспору: матросом; лакеем; полковником, и королем – и останусь прав. Власть – понятие ни для одного из них не постороннее. Ни для кого! Только одни в ней владельцы, другие – потребители. Сытые и голодные, довольные, недовольные, потребители. Но, не будь хозяйки, которая рубит головы курам – не будет корыта. Вот почему они не хотят, – взмахнул рукой капитан, – чтобы я им сказал: «Гуд бай!» – а как же корыто?

Глоток в пол-бокала виски. завязывал следующий узел беседы.

– Куры – не тема, если б я думал только о них и своем курятнике, ты был бы мне нужен не больше, чем все остальные. Довольствуйся ими, я бы тебя без раздумий убил. Но я хочу быть выше. Вот, пример... Покажи мне поляну, где плоды созревают золотом. Зерна, ягоды – чистое золото. Я там буду первым! Но, там же окажутся: пекарь и лекарь, священник, полковник – все, кто узнал о золоте! И пекари, ле-

кари, и священники – вмиг станут другими! Их не узнать. Они жить перестали, потому что золото – это не жизнь. Это гонка и головная боль. Его надо делать, и прятать. Делать и прятать! Мигрень, которую лечат две вещи: нищета, или вечный покой.

Но, я не единственный, Бэнкс, среди тех, кто любит чужой урожай, потому, что не любит работать. Обязательно, шайка таких, как мои, ублюдков, найдется и заберет урожай – чужим, но тяжким трудом добытый. А это, ты знаешь – море крови, за каплю золота...

Пусть не всех, и не сразу, я уничтожу их: я ведь первый из тех, кто копать не хочет, иметь желает. Даже если они – мои люди. Оставлю такого, как ты и скажу владельцам: «Соседа, который вторгся на вашу межу, я поставлю на место! Вырву руки ворюге Билли! Сломаю нос Берну – за то, что сует его не в свои дела; выколю глаз старой бестии Шаров, которая любит подглядывать! И ухо отрежу, на всякий случай... Появится Брэдли, который грозит забрать землю, – я отрублю ему голову! Я вам нужен, как крыша над полем, над которым летают камни!» И золото этих людей потечет в мой сундук, в наш – чтобы мы оставались крышей. И если же где-нибудь ручеек обмелеет, мы выжмем недостающее. А где золото – камни над головой летать будут всегда. Там нужны мы с тобой, Бэнкс!

– «Разделяй и властвуй» – прокомментировал Бэнкс.

– Книжки читал?! – вскинул брови Джон Шарки, – Но ты

правильно понял! Неразумно я поступаю: жгу, шлю на дно хорошие корабли. А у меня один корабль. Только один! Разве лишним будет второй? Эскадра?! Тебе по плечу капитанский мостик! Нам равных не будет, когда заиграем в четыре руки! За это! – налил, и с восторгом выпил Джон Шарки.

Поставил бокал, присмотрелся, заметил:

– Однако, в тебе я восторга не вижу...

– Проявится в деле, – ответил Бэнкс, – а не на словах.

– Давай о деле! Я просил, ты разведал город? Что знаешь о нем?

– Всё. Даже знаю, где библиотека.

– Библиотека? Зачем? Книги горят хорошо, конечно... Но я знаю больше, где, что лежит в этом городе, и как это взять.

– Бывает, достаточно просто вспомнить.

– О, нет, что ты, нет, я свои города не считаю! Даже если и был здесь, не помню. Они все похожи. Их потом, после меня их приходится строить заново... Всё просто Бэнкс: пришел доброволец из этого города и всё рассказал.

– Считаешь, правду он рассказал?

– Знаю: правду! Он пришел сам. А такие не врут, я их знаю. Руками пиратов они выгребают свой город, и получают от нас свою долю. В каждом городе есть гражданин, желающий этот город продать.

– Великой должна быть такая доля?

– Не важно. Он в долю вступил, я купил город. Хорошая сделка, а доли он не получит. Он – там! – показал на дно

Шарки, – Потому, что я велел Крэду дать надлежащий расчет. Мы уже не в долгу – человек получил ровно столько, сколько он заслужил. Справедливо, а сделка осталась в силе!

– Крэд проводил его в надлежащее место! – согласился Бэнкс.

– Завтра спалю этот город дотла, за то, что в нем были такие граждане!

Судьба Генрики ставит последнюю точку в судьбе Копли Бэнкса

Привычки думать о будущем, не отнимает возраст. Не могла заснуть в эту ночь Шарлотта. Человек исчезает – жизнь, нет. О тех, кому до небес, в силу возраста, далеко, переживает Шарлотта. О таких, как Генрика.

Начинающим свойственно делать ошибки. Мудрость таких как Шарлотта, не убеждает их. Большой недостаток у слова – его можно оспорить, и молодым это нравится делать. А жизнь не выберет спорщика – она посчитается с истиной, которую лучше Генрики знает Шарлотта...

Очень жаль Генрику... Жизнь катится к краешку поля, к последней меже – катится в бездну, влекомая Копли Бэнксом. Шарлотта, одну за другой, зажгла две свечи. Она хочет спасти бедолажку Генрику...

Вынула к свету и осмотрела заряженный пистолет. Оружие долго молчит, и умеет слушать, но способно в момент

отменить все споры, стереть сомнения, поставить последнюю точку.

Судьба Генрики ставит последнюю точку в судьбе Копли Бэнкса. Завтра, защищая себя, свои книги и дом, Шарлотта, выстрелом из пистолета, убьет Копли Бэнкса. Пусть сама будет тут же убита – но, Генрика... Ей надо жить!

Шарлотта на уровень глаз подняла пистолет, протянула к невидимой цели. Грозная тяжесть была послушна. Что ж, такова судьба: Шарлотте и Бэнксу быть жертвами на алтаре судьбы Генрики.

Небеса тебе делают честь!

– Небеса тебе делают честь! – сказал Джон Шарки. – Клянись, ты не ожидал, но ты именно тот! Я это понял там, когда ты дерзнул отбить мою женщину; оценил, и не стал тебя убивать.

– Стоила б свечка игры... – отозвался Шарки.

– Ты отважный и дерзкий, но есть недостаток – мало вкушал настоящих побед. Ты не познал своего превосходства. Разве что с женщиной, которую я тебе подарил? Это мало! Я дам тебе больше. Дьявол жмет твою руку, Бэнкс!

С плеском, торжественно, встретились и разошлись бокалы Джона Шарки и Копли Бэнкса.

– Дьявол жмет руку? – уточнил Копли Бэнкс. И, не спеша осушив бокал, без размаха, коротким ударом в голову, оглу-

шил капитана.

Время покаяться, вспомнить, и помолиться

Шарки пришел в себя в орудийном трюме. Бэнкс, обрубив канаты, перекачивал пушку. Грохот колес этой адовой колесницы, привел капитана в чувство. Бэнкс устанавливал жерло в упор, в лицо капитана. Распятый канатами, спиной к орудийному портику, Шарки нелепо сидел на полу.

– Это что? – разлепил он губы.

– Это дьявол пожал мою руку, Шарки!

– Ты дьявольски шутишь?

– А я не шучу!

Черным, громадным зрачком, в глаза заглянула пушка. Ужас был в том, что не признает ничьей власти эта холодная, смертоносная тварь. Плевать ей на всех, и на Шарки! Она служит только тому, в чьей руке факел. А в руках капитана Шарки уже не могло быть факела!

– Как и все, ты ошибся сегодня, Шарки! Гроза не исчезла, и не была шуткой морского дьявола. «Лентяй или трус» – ты обидел ее. Она затаилась, послушала нас, и готова сказать свое слово.

– Ошибся, конечно, Бэнкс... и обидел, возможно. Но, развяжи, я буду просить прощения.

– Прощения просит совесть, а ей не мешают веревки.

– Хорошо. Я проиграл. Развяжи, и отдам тебе половину

золота. Половину всего состояния, Бэнкс. Это немало!

– Ты забыл, что однажды спалил половину этого города; и мой дом. Тобою убиты моя жена и две маленьких дочки.

– О боже! Откуда я знал... Возьми всё! Всё, что есть у меня. Никакая семья не потянет на столько золота! Ничего нет дороже золота! Тем более – столько золота!

– Есть. И недавно я это понял.

– Поэтому я оказался здесь?

– Именно так!

– Мы же пираты, Бэнкс! Мы дьяволу служим, оба.

– Тебе он руки не подал бы, Шарки! Ты любишь смотреть в глаза тех, кого убиваешь. Что ты хотел там увидел? В глазах мальчишки, которому подарил надежду? Кто умирает раньше: он, или его надежда? Ты это рассматривал, Шарки? А в глазах женщины, которую я у тебя отбил? Ты прав, я могу быть равным тебе. Даже могу потеснить тебя на твоём королевском троне. Но справедливость не в этом. Я скромнен в амбициях, Джон. Я хочу от тебя не много. Просто хочу, чтобы пушка, так же как ты в глаза жертвам – посмотрела в твои глаза! Посмотрела в глаза, как ты – так же близко. Ну, разве я много хочу, а, Шарки?

Дрожь непослушно вкралась через пятки и охватила всё тело Шарки.

– Тебе же невыгодно убивать меня, Бэнкс...

– Убивать нельзя! Но я не достоин любви, потому что ты жив. А я хочу быть любимым, Джон!

– О-о... – дрожь выжимает холодный пот во лбу Шарки. Пот сливается вниз и печет глаза. – Любимым... – щурится Шарки, – а я? А со мной?

– Мне, – присел на корточки и заглянул в глаза Копли Бэнкс, – мне трудно. Мне надо жить, потому что любим. А не могу, потому что не бьется – хлюпает сердце. В нём камень...

– Камень? – дрожь капитана Шарки замерла в холоде понятой мысли, – То есть, я?!

– Конечно, – Бэнкс взял свечу. Зажег и установил ее в горку пороха.

Теперь всё правильно. В глаза Шарки смотрит пушка, а в казенной части ее, на запальной полке, горит свеча.

Пройдет, может быть, около часа и фитиль догорающей свечки, спадет в горку пороха. Это мгновение Шарки увидит во все глаза. Выстрел! Четыре тяжелых ядра, которые Бэнкс закатил в орудийное жерло, полетят в лицо Джона Шарки.

– Зачем так! – кричал Шарки.

– Всё справедливо, Шарки, взаимно. Ты смотрел в их глаза, пусть теперь поглядит в твои глаза пушка. Есть время покаяться, вспомнить всех, и помолиться...

В тяжелых, канатных путах, прогнулось, забилося в истерике тело. Не в силах выкрикнуть имя, взвыл, понимая, что все уже кончено, Шарки.

Бэнкс поднял капитанскую шляпу, скомкал и, не отряхнув, сунул в рот капитана.

– Ты все сказал в этом мире, Джон! – отвернулся, и ушел Копли Бэнкс.

Гроза, затаенная в небе вчерашнего дня, прогремела утром, из трюма пиратского корабля. Нагнала, и взметнула на гребень волны шляпку Бэнкса. Прокатилась в город, шурша освежающим ветром в окна домов.

В небо, на смену Авроре, всходило солнце. Кровавые руки пирата Шарки, покинули мир. Не знает еще о спасении город; начинается новый, совсем другой день – без дьявола на горизонте.

Ты победила, Генрика!

Человеком, который вернул себе право на счастье, переступал порог своего жилища, Бэнкс.

– Я знала, что ты вернешься, Бэнкс. В тысячах мыслей жила одной – вернешься! Ты здесь. Значит, уже навсегда?

– Да. Генрика! Навсегда!

После яркого солнца, в доме взгляд потерял остроту на какое-то время. Бэнкс подбирал хорошие, лучшие в мире слова – пришло время сказать их открыто, в глаза. Но в сердце скользнула тревога, сумерки, которых не ожидал Копли Бэнкс...

– Ты сделал всё. Небо, я – никто в тебе не сомневался. Но я, прости... Я больна, и, кажется, уйду...

– Что ты! – приник он к ее постели, – Силы вернутся! Генрика, многие здесь болеют, придя новичками, как ты. Это легко лечит время.

– Прости. Это я виновата. Нельзя было так, а я на тебя рассердилась... Подумала, что ты не вернешься, ты же не обещал. Я не сердилась, только на миг подумала...

– И забудь об этом!

– Только на миг подумала, и в этот миг укусила змея. Я в океан смотрела, с камня, где карта Англии. А под камнем была змея... Я виновата, нельзя было так думать, Бэнкс...

Олененком прошла неуверенно, припала к твердой руке Копли Бэнкса ладонь ослабевшей Генрики. Жар, изнутри выгорающей амфоры, ощутил в ее теле Бэнкс.

На запястье он видел «Дельту» – двугранный, с разлетом, след ядовитого зуба змеи Аконхо.

– Я люблю тебя... Мне не страшно, Бэнкс. Страшно было тогда, на палубе – я могла умереть, не коснувшись, и даже не зная тебя...

– Мы любимы, Генрика, и никогда не расстанемся! Мы так хотели. Я знаю это, и обещаю любимая!

– Шарлотта сказала, что ты... Я... я не знала, что ты очень скоро вернешься.

– Ты была одинока со мной, прости!

– Нет. Я не верила в это, и оказалась права... Я за тебя боролась, Бэнкс, постарайся жить долго.

– Ты победила, Генрика! – в глаза – как в два чистых озе-

ра, два океана, как в бездну, скользил благодарный взгляд Копли Бэнкса, – Подожди меня, Генрика. Я скоро вернусь. Подожди, любимая.

– Я подожду.

Он видел, что удивил Шарлотту.

– Что с тобой, Бэнкс? Ты болен?

– Нет, – покачал он головой.

– А когда же, – помедлив, спросила она, – я увижу ублюдков, и самого капитана Шарки? Хочу поквитаться...

Бэнкс улыбнулся, кивая на пистолет:

– Снимите, Шарлотта. Тяжелая штука, ей больше не место на Вашем поясе. Шарки не будет здесь! Их – тоже.

Шарлотта тронула рукоять. Посмотрела на Бэнкса.

– Что ты делаешь, Бэнкс, глядя в глаза, – говорила она, – Зачем тебе эта девочка? Тебе мало душ загубленных на корабле?!

Бэнкс опустил голову.

– Шарки убит! – сказал он, – А корабль потоплен.

– Господи! – опустили руки. Шарлотта пристально, посмотрела на небо. Она давно знала Бэнкса. Ему надо было верить.

Покачав головой, Шарлотта долго смотрела в след Копли Бэнксу. И вновь опустила ладонь на тяжелую рукоять пистолета. Она верила Бэнксу.

– Две беды, – проворчала она, – у нас было: пираты и змеи...

И пошла в дом, чтобы снять пистолет.

«Что она, – грустно подумал Бэнкс, придя к камню, – могла видеть сверху, отсюда? Что хотела увидеть? Взгляд мечтателя побуждает подняться выше. Это взгляд к горизонту, за горизонт – к линии, за которой таится будущее. Взгляд тянется, чтобы увидеть завтра – потому что мы боремся за него сегодня.

Неподвижно и долго, коленями к подбородку – в позе мечтателя, старалась увидеть Генрика завтрашний день. «Я нашла свою половинку, Бэнкс». «И я, – отвечает он, – Теперь мы едины» «Навсегда?» «Навсегда!» – отвечает Бэнкс и не прячет взгляда»...

Шорох, и легкое, едва уловимое в траве и листьях движение, выдало, что за Бэнксом давно наблюдали. Он увидел гибкий, чешуйчатый ствол поднимавшейся перед ним змеи. Он понял: Аконхо! И протянул ей руку.

Не сразу: по-человечески, пережив короткое изумление, холодным, упругим шлейфом змея обвила руку Бэнкса. В запястье впился кривой, дельтавидный, с разлетом, зуб Аконхо.

– Я здесь, любимая! Генрика, я вернулся к тебе, навсегда! Сплелись, узнавая друг друга, их руки. Сомкнулись губы.

Рано он обретал покой. Без дрожи, без горечи, без сожаления. Счастье – глубинная мера, и познать его по-настоящему можно только достигнув такой глубины. В судьбе Генрики, случайно попавшей в руки пирата Бэнкса, и оказалась мера.

Что ж, жизнь оставалась небесполезной: немного, но изменили мир они с Генрикой, к лучшему. «Дьявол, подозревал ли ты? – усмехнулся печально Бэнкс, – Что захватив в плен Генрику, приговорил себя? Что рухнет на чашу весов твоя жизнь – чтобы сохранить сотни жизней в городе, чтобы не остывал он в пепле, политым кровью невинных».

Но Бэнкс терял Генрику. «Тот, на кого молятся люди – подумал он, – взял на себя грехи, а Генрика приняла на себя нашу боль. Как тот же великий мученик – приняла на себя, чтоб избавить других».

Солнце, высветив мир на закате, остановилось. Угасающий мир, опустевший без Генрики... «Зачем такой мир? – думал Бэнкс, – Зачем он мне?!»

Металл, вчера еще обыкновенный, стал неразменным золотом. Жизнь была наивысшей ценностью. Она оставалась ею, но у неё было только одно, настоящее имя: «Генрика»!

В теле Бэнкса, вскипал тот же самый огонь. Вместо боли, легла на лицо светлой тенью улыбка. Такую же точно, улыбку увидел он на лице у Генрики, и понял, что можно закрыть глаза.

АЛЕНКА

Роман Солнце

Не смеясь, не любя, не слыша нас, бродит солнце над нами. Видит всё, и молчит, не спросив: а всегда ли желанно? Быть вечным, глухим и всевидящим, дано только солнцу – оно выше всех.

Оставаться глухим и далеким... Будь человеку такое свойственно, каждый бы пережил войну и остался в живых, но солнце, познав нашу боль, просто скатилось бы с неба, не пережив войны...

А на земле боль войны безмерна, алчна и неразборчива. Каждый день единицы тысячи, и десятки тысяч людей, уходят из списка живущих, в черные списки.

Легкость руки, составляющей списки, коробит души заботой о собственной жизни и отменяет любовь. Шаг, продиктованный чувством, даже пол-шага, могут запросто и навсегда вычеркнуть человека из жизни. Какая любовь?

Аленке семнадцать лет, она в чужой власти – немецкой, оккупационной. Это её реальность – шаг, пол-шага, и даже четверть шага – и... Она понимает. Но, узнав, что Алеша выжил, она посмотрела на солнце: «Он мой!» В тень отступила мысль о собственной жизни...

Война

– Открой, тетя Лена, это Алёнка... – постучалась она.

Тетя Лена, мама Алёши, открыла дверь. «Что ты хотела?» – помедлила, не спросила она. Отступила в сумерки не освещенной хаты, не сводя глаз с Алёнки, вглядываясь сквозь нее – что за спиной, кого привела Аленка?

– Войдем, тетя Лен...

– Зачем? – недружелюбно спросила мама. «Иди себе, с богом!» – говорили глаза.

– Ладно, войди! – отступила мама, видя, что не уйдет Алёнка.

«Откуда ты знаешь?» – хотела спросить она, меряя взглядом Аленку.

– Ему плохо? – посмотрела в глаза Аленка.

– Да. Очень, Аленка... – призналась мама.

Треснула в отдалении автоматная очередь: где-то остановил человека немецкий патруль. Так же могли остановить Аленку: ночь, комендантский час...

Запах гноящихся ран выдавал чужое присутствие в доме старенькой, одинокой женщины. Тетя Лена печально вздохнула:

– Идем... Вот, – остановилась на пороге маленькой комнаты, и отдала Аленке светящийся каганец.

Алеша почувствовал свет и открыл глаза.

– Аленка?!

Свет каганца высвечивал удивление на исхудалом лице.

– Аленка... – растерялся он.

Ему неловко: даже руки не мог протянуть навстречу. Он простонал и хотел отвернуться.

– Вот так... – горько сказал мама, – с первых дней войны, с 22 июня позапрошлого года, не выходил из боя. Живого клочка в его теле нету...

– Извини... – виновато сказал Алеша, не сумев поднять голову выше подушки.

Глазами, которые видели всё и устали смотреть – стариком, бродягой, идущим последней дорогой, смотрел в мир Алеша. Желтый свет каганца высвечивал лик Аленки.

«Война безнадежных не любит... Он мой!» – тайной надеждой мелькнула мысль у Аленки.

Светящейся, маленькой точкой отражался свет каганца в зеленых глазах Алеша. Улыбка легла на лицо, ломая сухую кожу, как тонкий лёд. Сынок улыбнулся – огоньком из ладони Алёнки, засветилась надежда в душе тети Лены. «Что скажет?» – гадала она, зная, что не дружили сынок и Аленка, не встречались, и даже намек не было, до войны. Сегодня немецкий патруль мог бы остановить и убить Аленку, но она ведь пришла...

– Солнце всходило, росы и тумана не было. Ждали дождя в это утро, а с неба посыпались бомбы. Так началось война, – тихо сказал Алеша, не зная, о чем говорить. Он смотрел в небо сквозь потолок. – В первый день, в первый час войны, меня ранило в ногу. Я простился с мамой... с тобой,

мам... Думал в бою умереть, – он закрыл глаза, – отступить же не мог. Но меня уводили из-под огня, на руках несли. Было стыдно...

– Что ты, сынок? – возразила мама, – Какой стыд? Не надо, Алеша... Алень! – попросила мама, – скажи ему. Он всё время так...

– Алена?.. – одумался Леша, не открывая глаз. Поморщился: больно, и улыбнулся еще раз, – Повезло мне, Алена. На руках меня вынесли. А Петя, наводчик, шомпола пистолетные прокалил на огне, приказал молчать, и вытащил из моей ноги осколок. Говорит: «Шрам безобразный оставил, невесту потом за меня попросишь – она простит. Клюка покривится – да только на свадьбе спляшешь!» Разве не повезло?! – он улыбнулся, силясь подняться и посмотреть на женщин.

– Сынок! – попросила мама.

Алеша закрыл глаза.

– В страшном сне я не мог представить, Аленька, мам, в страшном сне: я дома, а на улице – немцы! – он сердился, вытягивая из-под одеяла сжатые кулаки. – Не видел бы – застрелиться не дали...

– Алеш, – просит мама, – не надо, не бери себя, сын...

– Скажи ему ты, – обернулась к Алене, – раны расходятся, не заживают. Сил нет у Алешки... – тихо, чтобы не слышал сын, пояснила она.

Не расслышав, Алеша по-своему понял женщин, и возра-

зил, – Это временно... Мы свое слово еще не сказали. Не будет немцев, ни одного сапога – ни на улицах наших, ни на земле. Знаю! Пусть я теперь – списанный штык, ржавеющий, но штыки у нас есть. Эта гадина в толк не возьмёт, что мы – не те, какими они нас в июне-июле видели. Подло напали, и сразу косить – как траву от плеча, во всю ширь. Мы уходили, как беженцы, пряча глаза, и стыдясь друг друга. До сих пор... виноваты мы перед вами...

– Что ты, Алёш! – возразила Алёнка.

– Не удалось выйти к линии фронта. Капитан милицкий собрал нас, напомнил: «Моя земля. Я участковым здесь для порядка поставлен, и не уйду отсюда, и вам не позволю!»

Устыдил нас, остановил, и это нам показалось счастьем. Опору, твердость родной земли, ощутили в таких словах: наша земля, отстоим! Не воин – участковый милиционер, он тоску мою понял, и не пистолет мне, для избавления выдал, а пулемет. «Максим» – это только вперед – врага косить можно, а застрелиться – никак!» Потому я живой... Он свой участок, в сравнении с нами, тем более немцами, знал хорошо, выбрал позиции, изготовились к бою. Утром снова увидели немцев. Три танка, танкетки и мотоциклы – а нас, небольшая горстка. «Не числом, бойцы, а умением!» – ободрил капитан, и велел молчать. Танки прошли через нас. Мы, до тех пор, себя клали под них – любой ценой не пускали танки, а они нас – снопами... снопами косили! А участковый молчит – танки идут по его земле, а он молчит. Обвалили окопы,

земли нам за шиворот натолкали... И тут команда: «Огонь по пехоте!» Умом воевал: бить танки у нас было нечем – он пропустил их. А когда развернулась броня выручать своих – стрелять по нам не могли – за нашими спинами их пехота! Танк без пулемета в ближнем бою – собака с поджатым хвостом. Мы их вручную добили: бутылками с зажигалкой, легкой гранатой в мотор... Сошла на нет пробивная сила немецкой атаки, сгорела дотла! Вот тут я увидел немцев другими: «Гитлер капут!» – руки в небо!

Он не смотрел на женщин. Струной выгибает тело, коробит Алешу тяжесть воспоминаний. Испарина выжала капли во лбу, набухла бисером, горечью покатила в глаза. «Протереть бы глаза», – поняла, но не осмелилась это сделать Аленка...

А он улыбнулся, одолевая горечь:

– Капитан – не военный. Он не врага видел в немцах, а человека, который, как все, знает правила и ошибается также, как все... Круто ошиблись—на нас пошли. Зря! Плохо кончат! А... так вот, капитан... Немец нас атакует как надо, а мы – на ошибках ловим: по кумполу бьем, по спине, по заднице. И земля загорелась... Капитан говорит: не стремитесь туда, на восток, к своим – немцы ведут охоту, фронт отступает. Вас выбьют частично, частично, жаль, по домам разбежитесь. А после? Трибунал потом, после войны, за измену... А семьям – позор на память? Хватит бежать. Это наша земля, я здесь врага бью, и бить буду, и вас зову... Вот и остался

я в партизанах. А загорелась земля под ногами фрица! Горит – вы же видели, мама, Аленка?

– Да, – подтвердила Аленка, – я видела...

Тень улыбки скользнула в лице Алеши. Едва различимая, тонкая тень, но Аленка видела... Он застонал, сиюсь поднять лицо выше подушки и посмотреть в глаза женщин.

– Алеш, тебе силы нужны! – встрепелулась мама, обернувшись к Аленке и процедила: – Уйди...

– Уйду! – побледнела Аленка...

Мама вышла вслед, проводить Аленку. Перед тем, как зашелкнуть щеколду, сказала:

– Ну, что, насмотрелась? Он нужен тебе? – в сумерках смерила взглядом Аленку от пола до глаз, – Нужен? Кому он такой теперь нужен!

– Чистотел, тетя Лен – оробела Аленка. – Подорожник, крапивиу – отвар делать надо. А чистотел – как сок... Он выжигает раны. Простынку Вам принесу, довоенная – шелк. Шёлк, Вы же знаете, не присохнет, не будет рвать раны. Марганцовки немного – все есть у меня, тетя Лен...

– Чистотел! – повторила мама и торопливо рванула щеколду.

Оставшись одна, горько плакала мама – не выходить сына... Две раны глубоких: одна в левой ноге, и вторая – над ней, и самое худшее – в животе. Он устал. Война второй год, почти два, а раны – с первого дня войны... Больше не мог

воевать – потому и вернула его война.

« – Обманули его, – признал Семеныч.

Ночью он, и ржавлинские партизаны, пришли к ней, принеся на носилках Алешу.

– Душа чудом держится, места живого нет. Гангрены боимся, соврали, что ты нас просила... прознала, в общем, что здесь он, в лесу, и просилась увидеться с ним. Так бы не согласился: упрямый, ты знаешь его, Елена...

– Он... – опешила мама, – Он давно здесь?

– Почти год. А чего молчал? Не суди его, мать – о тебе болел сердцем. Знаешь сама, что с партизанскими семьями делает немец. В бою, ему равных нет, да только теперь уж какая война? Его выходить надо. С тобой – есть надежда... А так... не убережем тебе сына... Он должен выжить. Должен. Твой сынишка – герой, Елена!»

А что Аленка? Понять ли ей это? Понять пигалице семнадцатилетней...

А она пришла...

– Вот, – протянула шелковую, снега белее, обещанную простынку, – на перевязку Алеше, тетя Лен...

Отдав сверток, она отступила, сникла:

– Можете не пустить к нему, понимаю...

– Да что понимаешь?! Не встать ему на ноги, ты понимаешь? Сил наберется... Да как наберется, откуда – круглые сутки в бреду всё казнит и казнит себя, что беспомощный, хуже ребенка, а за порогом, за окнами – немцы. Боль сплошная, а веры в душе – никакой! Не встать таким, девочка, не...

– Встанет на ноги сын, тетя Лена. Отдайте его...

– Отдайте?.. – опешила мама.

– Да. Мне отдайте.

«Земля под ногами у немцев горит. Я видела» – помнит, помнит улыбку Алеши Аленка...

– Я могу. Всё могу, тетя Лен! И не трону его, обещаю...

– С ума схожу, или что?.. – прошептала, теряя опору, мама.

– Всё так, тетя Лена, так... Ведь будут искать партизана Тулина – к Вам придут. А придут – партизана нет...

– Иди... – из последних сил просит мама.

«Аленка, Аленка... – вздыхает мама, – Знать ли тебе, что такое любовь материнская? Что выше неё на земле этой нет ничего? Знать тебе, девочка, боль предчувствия?»

А предчувствие было. Это не уголёк, остывающий в печке. Такой уголёк будет жечь очень долго. Алеша приснился, как раз накануне. Река, он на той стороне. Кричал что-то маме, и лодку пытался вывести на воду, а она потонула у берега. Он плот собирал, налетели бомбить. Железные черные коршу-

ны падали с неба к воде и хватали бревна из Лешиных рук. Он, не зная, что делать, стоял, и, видя: всё кончено – ушел за высокий берег. Что сказал, прокричал – через речку, во сне, не слышала мама...

Судьба – та же самая речка. Берег один – это берег ее, материнской любви и заботы. А на другом – там есть все: и любовь, и ненависть – берег чужой. Но – все реки двух берегах, не бывает иначе. Аленка – она – тот берег...

«О боже!» – плакала мама, помня о бревнах, в когтях самолетов: а немцы узнают о сыне? Ведь могут узнать... «Тогда уже все!» – без Аленкиных слов, понимала мама. Любви материнской не место в военное время – любовь безоружна! Аленка права.

В Аленкином доме, с двадцатых годов, проживал, занимающий цоколь под мастерскую, стекольщик Андреич. Немцы его завалили работой – еще бы, стекольщику, после бомбежек! Аленке Андреич сумел, из немецких запасов, наладить оконца, а после забрали его, он исчез и стекольное дело, как многие люди, и как их дела, умерло вместе с ним...

Но, еще до того, как стекольщик исчез, немцы какую-то вывеску, на немецком, прибили к двери. Чтобы наши не подходили. Теперь и не подходили: одни – потому, что боялись; другие – зачем им стекольня без рук стекольщика? Дом, раз-

валенный на половину, остался пустым.

В ночь, когда третьи сутки шел мелкий, холодный дождь, на тележке стекольщика: длинной, под рамы и легкой, на велосипедных, надутых колесах, Алена и мама перевозили Алешу.

Он лежал под дерюжкой, торчали наружу босые ноги. Лицо под дерюжкой – как мертвый. Ночь – комендантское время, но если покойника, без церемоний, тихонько катят на кладбище – бог с ним. Прошли, повезло – никто не окликнул, дай бог.

– Аленка, смотри! Нет несчастья выше, чем пережить своего ребенка! Смотри, богом молю... – попросила Алешина мама.

Не воля и совесть вершат ныне судьбы людские, а руки. Теперь судьбы, как вещи, легко переходят и так же теряются запросто – вещи случайные, в чьих-то руках. Она б не пустила Аленку, да он бы не понял. И не отдала бы его, никому – и Аленке... Но, если его: «Окруженца», больного, калеку, могли и не тронуть, могли бы... Да он ведь таким не считался. Он был «Окруженцем» давно, в первый год войны, а теперь – партизан. А это уже приговор!

На обратном пути, без тележки, без сына, провожал маму ветер. Сын теперь на другом берегу. «Не отдам! Только Вам, тетя Лена, отдам если надо. И даже не трону...» – не слуша-

ла б мама, да могла ли забыть самолеты? Когтистые, черные коршуны, воронье!

Ветер выстуживал дождевые струи, гоня их потоком, не вниз, а вглубь – в лицо. Они вымывали соленый, горючий привкус из маминых глаз, и катились к земле.

Аленка

Аленке всего семнадцать, а вдруг она, мудростью седой Изергиль, поняла: до войны не боялись счастья! В голову такое прийти не могло. А теперь боялись... Пряча, с оглядкой, сало, немного муки, самогона пол-литра, которые, ей повезло – наменяла, отдав стеклорез и линейку Андреича, Аленка тяжелым пятном на спине, ощутила чужой, нездоровый взгляд. Это смотрел Осип Палыч, начальник полиции.

«Махорку, наверное, варит... – видела желтые пальца Алены торговка. – Зачем, – неизвестно: теперь ведь и черта поварят – чтоб выжить! Но пальцы – чего будут желтыми? Не от махорки?»

Но хмурился Палыч – каким-то чутьем уловила Аленка – не потому, что увидел ее пожелтевшие пальцы...

«А зачем это ей?» – оценил он закупку. Семья Воронцовых, с последним составом ушла на восток, но эшелон угодил под бомбежку. Аленка вернулась обратно в Ржавлинку, одна...

Не понял Аленку начальник полиции. Он же не знал, что война, отобравшая всё, не доглядела вдруг, и попала случайно в Аленкины руки краюшка счастья. За неё было страшно Аленке...

«Нравилась же, пигалюшка, сыну...» – подумал начальник полиции. Перед войной, в выпускных это было, да так и прошло, бесполезно. Теперь – пигалюшка такая же, ростиком так же – подмышки. К чему она – думать о ней? Но: сало, мука – даже это понятно – не воздухом птичке питаться. Но – Аленка брала самогон... Не понял ее Осип Палыч. Не нравилось это...

– Слышь, Воронцову сегодня видел...

– Угу, – буркнул сын.

– Не забыл? Вижу – нет! Ты, хоть теперь-то её потрепал, по холке?

– Не-е, батя, не потрепал.

– А чего, не дается?

– Не-е...

«От «Зингера» иглы меняла на самогон...» – припомнил Палыч.

– Слышь, а сходи-ка ты к ней.

– Что, сейчас?

– Нет, пожалуй... потом, как скажу.

«Антонов огонь»* (**Cencus*) – вот что пугало Аленку. Дрожь, сквозняком, как выстрел, хватала от пят до затылка. Не только в холодные, первые дни, но и после, когда засветило солнце.

– Выпей Алеша, так надо! – просила она.

Он слушался, выпивал и забывался, убитый выпитым. А она, в самогоне же, вымочив палочку, обожженную лампой, становилась глухой и слепой, ко всему.

Он был горячим, сброшенным в сон самогонкой. Она в это время снимала повязки.

Лучинкой, почерневшей от крови, огня, самогона и боли, влезала в раны. А если они, по ее недосмотру, за ночь зарастали синей, с прожилками гноя, кожей – лучинкой и пальцами, эту кожу Аленка рвала, вручную. Давила, ложась иногда, на ладони, всем телом.

От этого он просыпался. Кричал. Аленка сто лет не забудет – как! Прятал руки, боясь причинить ей боль. И никогда он, ни разу, не разомкнул своих губ. Связки рвались и гудели огнем, как в глухой паровозной топке. Беззвучно кричал! И руки – он прятал их от Аленки!

Сто лет, на всю жизнь, до последнего дня, не забыть ей такого, безмолвного крика!

Пала духом Аленка. Ну что же такого: смотрел со спины на нее, Осип Палыч... И что? Ничего, только ноги, домой

не несли. Она отступила в крапиву, наткнулась на колесо от разбитой машины. Присела, вжимая пальцы в резину, нагретую солнцем. Страх подкатил тошнотой невесомой, пугливой – как в детстве, когда это было впервые. Тогда успокоила мама, смеясь и жалея: «Аленочка, ты не волнуйся, теперь так и будет. Всегда, каждый месяц – растешь ты, Аленушка, все хорошо. Становишься женщиной. Это, девочка, после поймаешь – это счастье!»

Тяжелым пятном лег на плечи и сердце, чужой, нездоровый взгляд. Внизу, на железном скелете колесного обода, Аленка увидела следы пересохшей крови, вперемешку с землей и кровавыми сгустками. Страшно: Аленка боится счастья...

В этот день и узнал Алеша, сколь солонь, сколь горячи и отчаянны губы Аленки.

– Аленка, ты что? – удивился он.

Но руки тянулись, как солнцу – к ней. «Ох!» – затихла, боясь шелохнуться, Аленка. Не обжигают – просто теплы у Алёши ладони. Всего лишь! Но это значит: «Антонов огонь», в котором вот-вот бы вскипела Алешина кровь, отступал. Она целовалась, впервые в жизни. «Не умею...» – смущалась, видя искорки благодарности в близких, раскрытых глазах Алеша.

Она устыдилась, всплакнула, на кухне. Оба привыкли, что

над его головой, перед ним, в неподвижных глазах – потолок и куски серых стен. И боль. Боль разбитого тела, «Антонов огонь», вся боль, у которой короткое имя – Война. Аленку щадя, он держал это всё под закрытыми веками. «Я же, – хотела иной раз, признаться, Аленка, – цвет глаз твоих позабуду... Открой, посмотри на меня, Алеша!»

А теперь она видела их. И не только цвет глаз: даже солнечный зайчик в них...

– Аленушка!

– Что?

Он звал. Глаза говорили – ждал её. Легкий озноб пробежал у Аленки по телу – могла б не увидеть глаз! Поцелуй, первый, случайный и жаркий – осилил, убил в его теле «Антонов огонь». Волшебный, как в сказках о принцах, принцессах, высокой любви – поцелуй Аленки...

Замерло солнце, теперь будет жизнь. Тени, которых боялась Аленка, повернули вспять...

Он притянул ее руку, прошелся раскрытой ладонью, и мягко пожал у предплечия, в ямке,

– Алена!

Она наклонилась, и солнечный зайчик, и робость, чарующей каруселью подхватили и увлекли Аленку. В сердце вонзилась стрела – не его, а её, Аленку ранило!

– Эй, ты слышишь! – очнулась она.

В окно тарабанили с улицы резной рукоятью ногой. Аленка метнулась к окну. Под окном, деловито, как свай, расставив ноги, стоял полицейский. «Хорошо, – спохватилась она, – что окна высоко, и больше никто не живет во всем доме...»

– Аленка, давай ноги в руки и живо на площадь! Комендант объявление делать будет, ясно? Живей, я сказал!

– Я... конечно, сейчас!

«Без коня, а с ногой ходит...» – мелькнула нелепая мысль. Аленка летела на площадь, уводя от Алеши, от дома, врага и нечистую силу.

Людей сгоняли на зрелище, к эшафоту. Извилистым жалом гадюки, качалась в безветренном воздухе, черная на голубом фоне неба, петля...

На сваях-ногах, точно так же, как тот полицейский, под окном, стояли спиной к эшафоту немцы. Руки за спину: как циркуль в нелепо высокой фуражке, на помосте ходил офицер. Внизу, по земле, почти точно так же, гулял, взад-вперед, полицейский Осип Палыч. Грузный, в картузе и хромовых сапогах.

– Ведут! – встрепелась толпа. И последнее слово, последний шорох, вспыхнув спичкой, исчезли.

– Партизан! – закричал офицер. – Кто увидит в лесу партизан, кто увидит домой партизан, кто увидит – рукой без шарнира, как палкой, назад, и направо-налево, качнул офи-

цер, – Что есть партизан, должен быстро сказать полицай, или кто-то, любой, из германский армия. Мне говорил! Им говорил – указал он на шеренгу солдат, – Всем поняль? Я сказал, всем поняль? Кто не поняль, – таким будет вторая веревка! – он прорычал, не зная, как еще можно сказать по-русски, и махнул рукой на эшафот.

Отпрянули, как по команде, конвойные немцы, «Семеныч!» – узнали в толпе.

Тот пошатнулся, но тут же воспрянул, поднимаясь над всеми в последний миг жизни. Жгучим, как стыд, сожалением, выжгло слезу. Ничего, с высоты своей последней ступени, Семеныч сделать уже не мог...

Расторопные руки толкнули к петле.

– Товарищи, под Сталинградом их триста тысяч, и всех генералов пленили! Наши в Харькове были! Оставили, но вернутся и выметут эту сволочь. Будут и здесь, обязательно, будут! Мы победим, това...

Приклад автоматчика без размаха ударил Семеныча в зубы.

«У товарища Щорса служил! – бросил окурок и усмехнулся начальник полиции, помня предмет гордости старого партизана. – Волчара старинный! Вот щас и подаст тебе ручку товарищ Щорс!»

– Что там было, Аленка?

– Всё хорошо, я же здесь.

Как покинутый воин, которому не было шанса оставить последний патрон, или сломанный штык, ждал он её возвращения. Страшно быть безоружным, когда возвращается жизнь и начинаешь ей дорожить...

– Ну, зачем так? – упредила она, не дав приподняться. «Рана на животе, не дай бог, разойдется!» – страшит Аленку. – Не надо, – остановила она.

Припав на колени, склонилась, притянула ладонь Алеша, прикоснулась губами.

– Да, так, – обманула она, – объявление дали.

– Какое?

– В Германию, в Рейх, на работы вербуют...

– Опять! – простонал Алеша.

Ладонь – ощутила Аленка – замерла, как человек, уловивший хорошую музыку. Ладонь – как полянка, согретая солнцем...

Подушечки, складки, пальцы... Она обнимала, сжимала их и отпускала, касалась губами, мягко вбирая в себя. Будоражил неведомый мир, просыпаясь впервые, неизвестный до этого дня, вот до этой минуты...

Потерялось сердце... Сошло с места, и близко, как утренний сон, осторожно – стучало под самую грудь. Искрящейся дрожью, как рябь по воде, пробежала волна. В незнакомой, сладостной боли, воспрянули, напряглись соски. Волна – ветерок таинственный, возбуждающий, катится в теле, отзыва-

ьясь щемящим комочком внизу живота...

– Алеш... – позвала Алена.

Ладонь непослушно легла на его живот, скользнула книзу... «Нельзя! Он не может. Я делаю больно!» – пичугой, попавшей в ловушку, металась мысль...

– Алеш, – прошептала она, убирая ладонь...

Но просилось на волю Аленкино тело, не боясь, ни стыда, ни огня, ни боли. Из глубин сокровенных, врожденных, неведомых ранее, звали друг друга Он и Она. «Может, – пойманной птицей металась мысль, – однажды должно так случиться? Если однажды – пусть будет!»

Отыскав сбитую ею в порыве, Алешину руку. Аленка вернула ее, прижала к себе. Мужская ладонь, человеком очнувшимся, потянулась к ней. Блуждала и замирала, когда пальцы касались...

Они прикасались к запретным, неведомым ранее, струнам... Прогибалось Аленкино тело, в незнакомой, неведомой раньше, скользящей волне от шального тепла мужской ладони. Ниспадая, волна возвращала Аленку к ладоням Алешки, к Алеше, делая их всё ближе, теснее, желанней... Скользила ладонь Алексея-Алешки, читая дорожки желаний по телу Аленки.

У сердца ладонь затаилась, задев самые тонкие струны. Раскрылась и замерла у высокого, мягкого холмика девичьей груди. Накрыла, сжала осторожно...

«Всё!» – ахнула, падая в бездну, Аленка. Реки останови-

лись и солнце застыло глазком огонька в лампадке...

«Рану разбередим!» – испугалась Аленка. Очнулась:

– Не надо!

Задувши лампадку, скользнул неуютный, колючий туман-ветерок. Реки вновь потекли, засветилось солнце. И сердце из-под ладони Алеши, готовилось тронуться вниз. Где привычно стучало всегда.

– Боюсь, мы рану откроем, Алеша...

Горячей щекой прижалась к груди:

– Я сама... Хорошо? Я же знаю... видела всё... Ты без сознания, а я каждый день умываю...

Сойти не могла, увести с потаенных вершин и себя, и Алешу. Ладони её, лепесточки живые, скользнули по телу Алеши. Он охнул и простонал, он в это мгновение чуть ли не умер! И Аленка немного опешила, видя иным: не таким, как раньше, когда умывала, скрытную часть его тела...

Каждую жилочку ощутила Алена: струнки, твердые, тонкие, близкие – бились в мужском возбужденном теле, таинственном, страшном немного... Жилочки трепетали в несмелых объятиях нежных и непослушных пальцев Алены. Он и Она, отыскиали в себе, и друг в друге тайные струны, и не внимать им, оставить их, не могли. Скользила волна распушенной девичьей косы в бугорках на щите живота Алеши. Горяча их дыханием и освежая касанием ласковых влажных губ...

Он лежал на спине, неподвижный, доступный, желанный.

Аленка склонилась ниже, закрыла глаза. «И будь что будет! – мелькнула мысль, – На то и счастье, чтоб не умом пожить, а сердцем...»

– Нам с тобой, до конца война можно спать! – смеясь, показывал жестом ладоней под щеку, Карл Брегер – комендант станционной Ржавлинки.

– Ну, да – соглашался Палыч.

Теперь ни единой души партизанской в живых не осталось. Всех положили в последнем налете. Тех, кто ещё шевелился, зубами скрипел, обошли и добили на месте. Сожгли всё, что могло сгореть. А Семеныч, обозник, старик, уцелел, по дури. Вспыхнул фураж под струей огнемета, и старик, запыхавшись, птицей летал с брезентухой в руках, спасая корм партизанских коней.

Пока его с ног не свалили – вояка старинный... «Ну да, – в сторону коменданта косил Осип Палыч, – всё так, да не вовсе уж так...» Лешки Тулина там не нашли. Точно, того там не было, Палыч каждого пересмотрел. Не нравилось это, очень не нравилось.

А Щорсовец издевался, когда Осип Палыч производил допрос:

– Пес паршивый! Чего захотел? Не видать тебе Лешки! А увидишь – плачь – смерть твоя значит, пришла!

– Он в Москву улетел, по делу военному... – врал старик.

«В Москву? Да, скорее, гниет, дай бог себе где-то. А что?» – обнадежился, слюну проглотил Осип Палыч. Как будто услышал Семеныч:

– Дождешься! Он немцев, если те на хвост сядут – два десятка один уложит! А такого дерьма, как ты ...

Водой старика не поили, а плюнул в лицо с такой силой, что едва не упал Осип Палыч:

Болтается, с богом, теперь! Ну а Тулина – нет, так и нет, к черту их!

– Чего ты, герой, разогнался? – опешила мама Алешки.

Осип Палыч, без стука, без оклика – как в собственный дом, завалил в её хату.

– Хозяйка, вот что, давай, предъяви свою хату к осмотру!

Не церемонясь, не глядя, как побледнела, едва на ногах устояла хозяйка, шарил он по всей хате.

– Лестница есть? Давай, чердак не осмотрен!

Рыскал, как злая собака, лазил в погреб и на чердак.

– Не шути мне! – рычал он, – Я немца тебе на постой хочу дать. Офицера. Колбаской немецкой со своего стола, глядишь, и побалуует! Скажешь, потом мне спасибо.

Он все осмотрел. Все проверил.

– Ну ладно. Пошел я...

А когда постояльца ждать – не сказал...

Аленушка, девочка, как ты права!

«Аленушка, девочка, как ты права!» Маме стыдно за неприязнь, не скрытую в разговоре с Аленкой: «Что, посмотрела? Он нужен тебе? Кому он такой теперь нужен!» А будь он сегодня не у Аленки, а дома!» Мама смахнула слезу, посмотрела на солнце, которое только что, пол-часа назад, могло навсегда закатиться...

Слепящее солнце, как тонкие пленки насквозь, пробивало веки, рисуя причудливые картины. Уходящий Семеныч, убитый на эшафоте, обернулся к ней издали: «Видишь, Елена, убили меня – это значит, Алешке теперь только жить. На войну ему больше дороги нет! Нету – он твой, с чистым сердцем, Елена!»

«Вот, жаль! А была б ты молочницей партизанской...» – вздохнул Осип Палыч, думая о Воронцовой. Карл Брегер его бы не понял, а Юрка – да что ему, Юрке? Привык получать удовольствие даром...

– Ты, Алевтина, не знаешь, чего я пришел? А подумай! Тебе, жить захочешь, думать придется. И крепко!

Знать, зачем пришел в дом полицейай, невозможно. А если сказал, что придется думать, то это может значить: «все – твоя песенка спета!» Он хочет! А слушать и думать – не

царское дело, не будет! Он, весовщик сатанинский – с удовольствием, понемногу любит навешивать страх: А захочет – и сразу к стенке!

– Ты не забыла, – высверлив взглядом, спросил Осип Палыч, – где-твой-то?

– Осип Палыч, да ты ж...

– Я спросил, не забыла?

– Да нет, ну...

– Какой тебе ну? Какой ну!

– На фронте он, Осип Павлович, как и у всех.

– Вот! – пригнул первый палец начальник полиции, – А сынок? – второй палец пригнул Осип Палыч. – И до каких это пор, Алевтина? – еще один палец готов был залечь, – До каких, говорю, я терпеть это буду?

– Осип Павлович, Вы же... О, господи, Палыч, так что же? А как нам? У всех, ты же знаешь, все там – мужики! Осип Палыч...

– Я, Алевтина, всё знаю!

– Ну, вот! А мы что...

– А Рейху, башка твоя дурья, ущерб от твоих мужиков.

Они морды им квасят на фронте!

– Все же им квасят...

– Что? Чего ты грубишь? – передернулся Палыч.

И через стол, тяжело, залепил Алевтине пощечину.

– Что? – подождав, спросил снова, – Повторишь, может, что они там, мужики твои с немцами делают, а?

– Да, но немцы, за это не трогают баб... – пряча лицо и слезу на щеках, – не заткнулась, – сказала своё, Алевтина...

«Упрямая, знает, что все одно обломаю! Чего добивается, курьи мозги? Чего лезет?» – зверел Осип Палыч.

– Не трогают, дура, пока я не велю. А велю, Алевтина! Слухи дошли, что стучали в окошко к тебе, молочка партизаны просили. Просили, змеиные дети! Да ты вон, еще им яичек вынесла. А?

– Господи! – шепотом отозвалась Алевтина.

«Душа, может, в пятки, а злится: глянь-ка... Размазать ее... А злится!»

– Вот так, партизанский пособник! Ну, может, пойду я? Да пусть тебя немцы не тронут теперь? Дай-то бог им, сердечным, здоровья. Мне-то что? На все воля божья!

Глазами, над битой щекой, прошла Алевтина по кругу, в себя заглянула, подумала:

– Ты, Осип Палыч, ведь знаешь. В окно постучат, кто такие – не скажут. Вам вот не дай – вы убьете! Да так и они. Куда мне деваться? Дала молока им, давала... Но, ведь не враги же мы с Ниной для Рейха! Тебе не враги...

– Вот то и болит голова, за вас, баб непутевых. Жалей вас, – да чего ради? Что мне с этого? Холодно, горячо?

Алевтина вытерла слезы, сложила руки на стол. Бледная, темень в глазах; молчит – ненавидит Палыча!

– Ну, по-доброму, вижу, не хочешь. Даже не понимаешь! Пойду я, а сказкам твоим: «дай – не дай» – комендант пусть

поверит! А я посмотрю.

Это был приговор.

– Чего тебе? – глухо спросила она.

– Мне? Ничего! Тебя вздернуть – у немца рука не отсохнет. А дочка?

– Что, дочка? – ужаснулась Алевтина.

– А что? Да какую без тебя ей! Сама должна думать.

Осип Палыч сложил ногу на ногу и покачал, не спеша до блеска начищенным сапогом. Мыкнул, и сипло поинтересовался:

– Ну, вот и где же она? – показал головой и глазами в комнату: – А?

– Да... – как неживая, ответила Алевтина.

– Пусть там и сидит. Значит, пусть... А вот там, – кивнул он на улицу, – Юрка мается, сын мой. А чего он мается – пусть идет к ней. Развеют тоску, вместе с Нинкой. Не вразумела? А ты вразумей, вразумей, Алевтина! Выйдет Юрка довольный – забуду. Тогда все забуду. А Нинке твоей не забудет! Ты поняла?

– Скотина! – услышал он шип змеиный сквозь зубы, – А я? Ты меня уж давай, слышишь? Меня! А её-то – ребенка... Не тронь! Это мне все равно! А ребенок? Ребенок же, изверг ты, Палыч!

– Вот именно, что всё равно! Ну а мне-то, какой же цимус? На тебя, извини, и не встанет.

Осип Палыч поднялся, готовый еще раз ударить – и даже

прикладом, если та вдруг полезет в защиту ребенка.

Но та не могла: «отплыла». «И то хорошо, – вздохнул Осип Палыч, – что под рукой ничего у ней нет! А плюнет – убью! Немцам обоих отдам!»

– Эй! – слышит с улицы Юрка, – Кому говорят? Давай, быстро, сюда!

Аленка вот, жаль...

Да Аленка вот, жаль – «партизанской молочницей» не была. Ни родных, ни коровы: никак, ни с какого боку не подкатить к ней – сирота...

Чего-то же Юрка в ней видел? Козочки ножки, и плечи – как плечики для пиджака. Детского, лучше сказать, пиджачка... Спинка – не дай бог, руку положишь, – прогнется. И щечечки пыхнут. А шейка высокая, с ямочкой между ключиц. Мягенькой, теплой ямочкой...

Рукой бы потрогать, губами коснуться – блажь...

«Старый бес! – усмехнулся Палыч. Ведь ямочки между ключиц, не видел... – Шельма! Бес!» – тряс головой Осип Палыч.

Волны достигли высокой вершины, застыли на миг в ощущении счастья, и тихо пошли на спад. Обессилев, застыла Аленка на утомленном теле любимого. Ускользала из паль-

цев, как тающий воск, утомленная страстью, Алешина плоть. «Может, что-то не так?» – едва не всплакнула Аленка, чувствуя, что не решается глянуть в глаза, как ни в чём ни бывало. Стыдливость прохладным дыханием щекотала ресницы.

«Всё теперь...» – всхлипнула тихо Аленка. Назад, вглубь, где привычно стучало всегда, возвращалось сердце. Тело Алеси ослабло, и не тянулось на встречу...

Где-то реки текли точно так же – обычно, как до того. Солнце светило, и рожь колосилась, продолжалась война, где горели свои и чужие танки. Так же, обычно, одни убивают других; летят под откос паровозы... Ничем эти двое: Алена, Алешка, сделав такое, кажется, не изменили мир...

– Алена, – позвал он чуть слышно, – тебе хорошо? Это счастье, Аленка! Счастье. Ты знала, что оно есть?

Весь мир обойдя глазами, Алена вернулась к нему.

– Да! Я, наверное, знала...

Пусть текут теперь реки. Война? Есть еще солнце и рожь золотая в полях... А главное – эти глаза. В них засветилась жизнь. Боль, конечно, не отменялась, но после того, что они натворили вдвоем – боль потеряла власть.

Он целовал её пальцы. Прикрыл глаза, но она не боялась за это. Там царили теперь не война и не боль.

– Я знаю, отчего они, цвета... – он искал вместо «желтые» – слово другое, получше...

– Цвета подсолнуха, да?

– Нет. Пальцы твои – цвета солнца!

– И от чего?

– От чистотела. Ты выжигала раны, спасала мне жизнь...

– Да? – улыбнулась Алена, не пряча правды. – А ты... ты скажи, хорошо тебе было, Алеша? – вздохнула, посмотрела в глаза, и осторожно пустила руку под одеяло.

– От счастья чуть было не задохнулся! – признался Алеша, – Смерть уйдет, когда есть такое, Аленка, милая!

– Спасибо, я же... и целоваться я не умела. Не было...

Тень легла на лицо Алеши:

– Алэн, извини, если что-то я сделал не так...

– Это делала я, – возразила Аленка, – а могло быть у нас по-другому?

Он не мог возразить.

– Это случилось, любовь священна... Значит, жить нам, Алеша, вместе, долго, и умереть в один день...

– Да, только, через очень и очень много лет, после войны, Алена!

Они помолчали, подумав о будущем.

– Я же с пятого класса, Алеша, вот так про тебя одного могла думать. С другим – и представить бы не могла. А ты в это время учился в девятом. А потом: я же все понимала, когда и сама перешла в девятый – у вас с Клавой уже было то, что теперь у нас. Пусть не так, может быть: «Я не знаю!» – подсказывал внутренний голос, а внешний сказал, – Ну, примерно так.

– Не так! – возразил Алеша.

А мама, на следующий день навестив Алешу, растерянно, радостно, скрытно, не уставала креститься. «Семеныч, душа твоя светлая, слов твоих добрых, забыть невозможно. Будем, конечно, теперь будем жить! Боже, какие глаза у Алеши нынче! Чудо господне! Боли в глазах не скроешь, но счастья не скроешь также».

«Аленка? – подумала мама, – Девочка, шельма малая, ты натворила чего, а? Аленка?» – повторяет, всё понимая, и улыбается мама...

– Юрка! – позвал Осип Палыч, – Ты помнишь, про Воронцову я говорил?..

Дай бог, не ошибалась мама: старуха с косой отступила от сына. Теперь не провалы в беспамятство – сны приходили ночами к Алеше. С каждым утром он становился сильнее.

«Это, девочка, надо понять – это счастье!» Теперь так и будет – помнила маму Аленка. Смелая, близкая и осторожная, приподнимала край одеяла. Крыло одеяла, накрывая обоих, казалось не тканью, покоящей и согревающей – а судьбой. Она была так осторожна, Аленка, когда обнимала Алешу...

Забилась, захохотала дверь. Никто, всю войну, не стучал к Аленке...

Накинув платье, Аленка тревожно метнулась к двери.

– Ты, что без трусов и по городу ходишь? Днем? – услышал Алеша мужской удивленный голос.

– Юр-аа?! – оторопела Аленка. А он, бесцеремонный, еще раз проскользил ладонью по талии и ягодицам Аленки – проверил.

Онемела Аленка, а он захлопнул дверь, и мгновенно, в два шага, вытеснил из коридора.

– А! – осекся он вдруг, – М-мм... А ты что, замуж вышла? Ну, извини, извини, я вижу! Не знал, Аленка!

– А, – он уже отступил, – это самое... я просто так заходил. Просто. Пойду, я, Аленка. – Бывай, – попятился он, и захлопнул дверь с той стороны.

Алеша хотел приподняться и потерял сознание.

Припала Аленка, как от удара в спину, щекой прижалась к косяку. Покатали, скользя через пальцы на плечи, Аленкины слезы...

Не промолвил ни слова, не шелохнулся, Алеша.

Холодной росой заблестел на его лице пот. По следу, еще не остывшему, быстро, как пуля, вернулась безумная боль. Открылась рана, выскользнув стружкой крови из-под одеяла...

– Я с тобой! – забываясь от горя, шептала Аленка. – Не уходи, я ведь тоже уйду с тобой!

Не боялась уйти, и ушла бы вместе, а надежда теплилась: 777 старухе с косою уносить двоих, тяжелее...

Придя в себя, не могла найти себе места Аленка и стала тщательно мыть окна. «Не ленись это делать, – всегда говорила мама, – в доме будет светлее. Хорошее настроение входит к нам через чистые стекла...»

– Алеша... – закончив, присела Аленка, рядом. – Так как ты, никогда и никто – никогда, понимаешь, меня не трогал...

Закрытые веки Алеши, его выдавали – он слышал...

– Не знаю, понять не могу, отчего? Хотел он дружить со мной, было, Алеша. И поцеловаться, на выпускном ко мне лез... я ему отказала. Но так, чтоб руками...

Из сумятицы слов она выбирала лучшие, но вдруг ощутила – обрыв. Нить обрывалась. «Всё!» – опустились Аленкины руки.

Он открыл глаза, горячей рукой нашел ее руку:

– Алена, не бойся. Тебя я сумею понять, всегда! Это правда – всегда...

Не обрывалась нить...

– Чего такой, дутый? Обидел кто-то?

Юрка, руки в карманы, подбородком, как взнузданный, дернул и отвернулся.

– Что ты молчишь? Где был? У Аленки?

– Да.

– Ну, так, – усмехнулся отец, – теперь потрепал ей холку?

– Отец! – прошипел Юрка, – Говорил уже, нет!

– А что злишься? Вздорная, не дает?

– Она замужем. Понял?

– Во, как! Ага. И за кем же?

– За Тулиным Лехой.

– Тулиным?

– Да, Лехой Тулиным. Она, я так помню, его и хотела, всегда...

– Во к!... – чуть зуб не сломал, стиснул челюсти Осип Палыч.

– Пашка, Никита – за мной, хватит водку лакать! – дал команду Палыч, – Винтовки, – добавил он зло, – не забудьте, вояки!

«Дети! – сердился на сына, – Чего б понимали в жизни?! Ему – дай всё, а он? Говорить уважительно с батькой, так и на это– дуля! А дальше что будет?»

Никита, – полицей-недоумок, и нынче кирзу, по-колхозному носит. Разношенные, широченные голенища сапог,

хлюп-и-хлюп – хлюпают по ногам, нервируют Палыча. Не понять, дураку, что ушам Осип Палыча мерзко. Мозгов не хватает и не хватит, пока не убьют!

– А куда мы, Палыч?

– Куда? Врагов бить. Забыл, кому служим? Не все ж самогонку по бабам трусить!

– Ну, если надо... А сил у нас хватит?

Осип Павлович остановился и от пяток до кепки промерил Никиту недобрым взглядом

– Я, ради бога... Мое дело – во, – ноготок на мизинце, не больше, – поспешно ответил Никита, – Прикажешь, сделаю!

«Пёс!» – оценил Осип Палыч, и сплюнул.

«Во, жизнь! – подумал Никита, – Этот – по морде бы дал, просто так. А из немцев – любой: Айн момент, нате, русишь, по харе! А наши?»

Свинья вспоминалась – как-то видел на бойне... Сбила погонщиков с ног – и бежать! Говорят же, что чувят, когда их на убой ведут. Сотни идут, а эта – сбежала. Глупо: от смерти и от человека – а особенно, если те заодно, сбежать невозможно! Догнали несчастную. Били, пинали свинью ногами, с места срывали железными крючьями. Избили, всю искололи; сил – ни у той, ни у них. А все равно – умирать по-свински свинья не хотела. Не видел Никита, чем кончилось: вряд ли своими ногами пошла на убой. Утащили волоком...

Свиньей в тупике, казался себе самому Никита. Несчастно живая, расставив передние ноги, держалась та из послед-

них сил и тянула морду ноздрями в небо...

«И так же со мной... – думал нынче Никита, – Может сейчас же: придем на место и все... А нет – все равно нам с Пашкой – тупик! С немцами, пока голова во хмелю, считать себя человеком можно: потому что живой. Да не вечно же быть во хмею! И немцы не вечны на нашей земле: чует нутро, если Москвы в первый год не взяли – их песенка спета... Осип Палыч, Никита, Пашка – какие они друзья немцам?! Так – спасители собственной шкуры, приспособленцы. Приспособленцы живут хорошо, но недолго! У таких людей, своих на своей земле нет – они сами на ней чужие...»

«Говорят же, – вспомнил свинью Никита, – бык-провокатор, или свинья-провокатор, есть. Вожаки на конвейерах бойни. Пока за собой других водят – живы, естественно, сыты. Но ведь поведут, точно также, их! Поведут... Черт его знает, как мы, а вот Палыч – в петле, по итогу, болтаться будет!»

От вида висящего в перспективе Палыча, становилось легче...

«С похмелья хворает, скотина! – помня, что мог дать Никите по морде, подумал Палыч, – А до войны – не пил. Да теперь по-трезвому мыслить – свихнется каждый. Пусть пьет, жизнь под откос полетела у всех. Но, взять меня – больше ста кил. Мне два стакана – милая шутка! И три стакана. А тому – двести граммов махнул – уже есть! Ему это вес, это

тяжесть, он от нее— уже тряпка. Дурак и такой как Никита, не могут понять: тяжесть безвредна, когда ее выдержит тело. А душа — какой с нее спрос? Кто видел, чтобы вагон, например, разгружали не люди, а души? Поповская выдумка это — душа. Однако, за что бить Никитку?»

Уже близко у дома Аленки, Палыч вдруг остановился: Задумался, обернулся к своим:

— Паш, ты трезвый. Вон, домик видишь? — и указал совершенно в другую сторону.

— Ну?

— Флигель, в саду. Там, как я знаю, засел партизан раненый, чуешь?

«Тулин, — терзали мысли мозги Осип Палыча, — конечно же, ранен. Seriously ранен, иначе бы не был здесь...» Он кривил душой в этот миг, уцепившись за мысль о том, что Алешка ранен. Не о враге-партизане задумался он, а о ямочках между ключиц, о ней — Аленке. «Что он, — взбудоражила голову мысль-находка, — раненый, немощный, может ей, как мужчина, дать?»

Шальная надежда, крутая мысль, вскружили голову, и Осип Палыч, в последний момент, отдал бесполезные распоряжения:

— Ты, и Никита — вперед! Убить, живым взять — все равно. Вперед!

Пашка пригнулся, и передернул затвор.

— Никита! — махнул он рукой. Началась атака...

Осип Палыч присел, где стоял и достал сигарету.

– Осип Палыч, – неся, как косу, на отвес, винтовку, вернулся обратно Паша, – мы все обыскали. Вообще никого!

– А Никита?

– Сейчас припрется.

– Значит – или ушел, или не подтвердилось, что был.

– И не было, Палыч!

– Ну, значит конец операции, все! Но зато и потерь у нас – никаких. Живы. Давай, выставляйся, Никита, жить будем! Ты слышишь, хвороба ты наша? – усмехнулся Палыч.

«По-другому пойдём!» – думал он о себе и Аленке. Советских времен репродукция вспомнилась: Ленин в юности – «Мы пойдём по другому пути!»

«В Москву улетел, по военному делу!» – вспомнил Семеныча, и чтобы не рассмеяться, окликнул:

– Никита, не стрельнул в тебя партизан?

– Да, живой, пока...

– А ну-ка, скажи, что тебе говорил Леха Тулин?

– Я с ним, – опять рассердился Юрка, – не здоровался даже.

– Чего так?

– Болеет.

– А кто говорил?

– Да я видел. Лежит, головы не поднимет. Чего лезть – болеет...

Опять забренчало окно у Алены. Стучал полицаи. Не тот, что на сваях-ногах, с ногайкой – стучал Никита.

– Аленка! Тебя к коменданту. Не бойся. Хотят, вроде снова стекольную открыть. Вот герр комендант с тобой хочет потолковать. Поняла? Выходи, а я тут подожду.

– Сейчас! – кинулась переодеваться Аленка.

– Опять комендант собирает?

– Да-а, Леш, в общем, да...

– В Рейх, на работы!

– Леша, прошу, не волнуйся. Я скоро приду, расскажу. А сюда, ты же знаешь, никто не ходит.

– Никогда?

– Никогда, потому что немцы тут открывали стекольную – окон пустых в нашем городе много. А после, Андреич куда-то пропал, и они это бросили. Но табличку оставили: «Хальт!» – и что-то еще, по-немецки. Ее все боятся, никто не подходит...

Носом к носу столкнулись они в проеме тяжелой двери городской управы. На встречу шел Осип Палыч.

– Ум-м... – удивился он. – Ты откуда, куда?

– Ну, я пойду, Осип Палыч? – спросил Никита.

– Иди.

– Герр комендант вызывает к себе... – растерялась Алена.

– Комендант? О, это плохо, Алена!

– И сама же боюсь...

– Комендант – это плохо, Алена, всегда!

– Стекольную хотят открывать. Там была...

– Да, Алена, я знаю, была... – глянув вокруг, он осторожно взял руку Аленки, – Отойдем-ка, давай, в сторонку...

В сторонке опять огляделся, тихонечко тиснул руку Аленки повыше предплечья:

– Ты, вот что, тут меня подожди. Я схожу и улажу всё сам. Поняла? Не к добру, что высокий начальник тебя вызывает... – задумался он, предлагая присесть на скамеечку в сквере. Поправил картуз, и пошел к коменданту.

– Фройлен! – удивил чужой голос Аленку. Перед ней стоял юноша в форме солдата немецкой армии. Улыбался, а мимо шел пеший строй. Встретив взгляд Аленки, не сводя с нее глаз, солдат протянул ей цветистую ветвь акации.

– Хальт, Хельмут! – грубая речь на немецком, остановили его. Не успев ничего сказать, немец отдал свой подарок в Аленкины руки и поспешил назад, в строй. У него – ей запомнилось – голубые глаза.

– В общем так, я узнал... – вздохнул, не скрывая волнения Палыч, вернувшись от коменданта, – Плохи дела!

Присел близко. Так близко, что к своему же плечу обернувшись, мог заглянуть Аленке в глаза, в упор. Торопливо достал сигарету. Как немец курил: до них сигарет не знали...

– Тебя, в общем, с семьей... – кашлянул, удивился Палыч, заметив подарок немца в руках Алены, но быстро вернулся к теме, – Тебя и семью, комендант батраками отправит в Германию. А там – как и была – снова будет стекольня...

– У меня нет семьи.

– Да? – Осип Палыч прищурился.

Она растерялась: он должен знать, что погибла семья под бомбежкой...

– Да уж... – вздохнул Осип Палыч. – Однако, – отеческим взглядом смерил Аленку, – Ты уж большая, должна понимать: какая из женщины женщина, если при ней нет мужчины?! Дело взрослое. Ты и замуж выйти могла, и ребенка родить... Во-от... Не беременна?

– Что? – встрепелась Аленка.

– Да, я говорю, мало ли?..

– Нет, дядя Осип, я не беременна.

– Ну... – согласился Палыч – Это хорошо!

Бросая подальше, окурок, невольно подался за ним. А возвращаясь назад, обернулся и ненароком, легонько коснулся Алены плечом.

– Так что будем делать, Алена?

Он думал над тем, о чем спрашивал. Краешком глаза – не больше, чем в четверть, следил за Аленкой. И не торопил ее,

ждал. А вес ожидания – его рука на плече Аленки.

– Совсем, дядя Осип, не знаю, что делать...

– А надо?

– Наверное, надо...

Придут туда немцы – пугало Аленку. Кто-то из тех, кто окликнул голубоглазого, может, и он, вместе с ними... И вместо улыбки, грянет как гром: «Партизан?!»

Осип Палыч, поправив ремень винтовки, слегка приподнялся, и – Аленка и так уж сидела на самом краешке – присел еще ближе. Неловко достал сигарету. Вдохнул, а рука, опускаясь локтем и краем ладошки, легонько легла чуть выше колена Аленки.

– Ты, вот что, – пыхнув дымком, сказал он, – я похлопочу за тебя. Я могу коменданту сказать, чтоб стекольную вообще там не открывали, и чтобы тебя, стало быть, не трогали. Пойти и сказать, Алена?

Ладонь, ненароком припавшая чуточку выше колена Аленки, была невесомой, почти не мешала, он её, кажется, просто не замечал. Он ждал, что ответит Алена. Ладонь была теплой, и неприятной Алене.

– Сказать? – переспросил он, – Смотри, а то будет, знаешь ли, поздно!

Ладонь поднялась, и теплым, чужим покрывалом, накрыла колено Аленки. Обернувшись, вторую руку Палыч положил на плечо Аленки.

– Да... – оторопела Аленка.

Ладонь на плече притянулась, потяжелела, а большой, оттопыренный палец, завис возле самой груди, дрожа, едва не касаясь ее...

– Что ж ты, Аленка, не поняла? Мне, чтоб пойти к коменданту, чего-нибудь надо взамен, в благодарность, Ален...

– Дядь Осип, – Аленка сжалась, отстранилась, стараясь уйти от дрожащего пальца над грудью.

– А может, – заметив это, спросил Осип Палыч, – не надо ходить? А, Ален? И будь что будет! Смотри, я же ведь не пойду! – не торопясь, убрал руку с плеча Аленки.

Окурок, едва лишь запаленный, тлел под ногами.

– Нет, дядь Осип... Надо! – Аленка не отстранилась. Она приходила в себя, как будто ее только что, душили. Глаз ее Осип Палыч не видел: не открывала.

– Ну, вот, говоришь, что надо. Пойду. Это значит – пойду! Ты боишься меня, да, Аленка?

Аленка открыла глаза и кивнула.

– Пойду! – заглянув в них, сказал Осип Палыч.

Уже, отшагнув, обернулся и тоном человека, который сделал что-то не так, попросил:

– Ален, ты не бойся. Не сделаю дурно. Увидишь...

«Аленка и те, – сравнивал Осип Палыч, – «молочницы» – как небо и бездна земная!» А Тулин – конечно же, ранен. Днем – сказал Юрка, – в кровати лежал, головы не поднять.

Тяжко ранен, иначе и не был бы здесь. Не тот человек!»

«Юрка...» – он шумно, в голос вздохнул, представляя их рядом с Аленкой. Она, в этом легеньком платьице, и он рядом с ней – малословный, да расторопный. Не сильно бы, кажется он, на месте отца, церемонился. «Ох, я тебе!» – возмутился Палыч, представляя, как сбросил бы Юркину руку с Аленкиных плеч. Но устыдился: сын все-же. Захочет Аленку – придется её уступить...

Прищурился, глядя на солнце, поправил картуз и прибавил шагу.

Одиннадцатая граната

« – Вот тебе десять запалов, – отсчитав, выдал взводный.
– Но гранат у меня одиннадцать.

Леша знает: одиннадцать, но одна из гранат сильно повреждена, покорежена даже в резьбовой части.

– Согласен, что лишней граната бывает «до» или «после» войны. Но эту в расчет не беру – безнадежна.

Спорили взводный и командир отделения.

– Но, покуда жива, есть шанс...

– Шанс – это взрыватель! Мозги не кружи мне, не дам. И вот что скажу: безнадежность солдата – хуже измены. Считают живым, но места в строю за таким не числят. Вот и она, – гранату имел в виду взводный, – понадеешься, а она разорвётся в руке! Или вообще не рванет – когда её в немца бро-

сишь. Чем не измена с её стороны – или немец прикончит, или сам взлетишь на своей гранате. В общем, запал про запас оставляю себе, а эту гранату – на фиг! В кармане – обуза; выкидывать – грех. Значит – сдай старшине...

Улыбка, – дай бог, не могла её видеть Алена, не светом, а тенью печальной, отразилась в глазах Алеши. «Я и есть – одиннадцатая граната! Её – старшине, меня – маме. Её без запала. Меня – безоружным!» – печалился он.

Войдут, в любой миг, полицаи, немцы. «Пистолет да один патрон, хотя бы... – до стога жалел Алеша, – Маленький шанс уйти на тот свет с чистой совестью, непобежденным...»

«Уйти? – к свету, из тени обиды, вернулся в сегодняшний день, Алеша, – А что бы сказал Алене? «Прости, это мой долг, а то, что у нас с тобой было —...» Он простонал, не стесняясь: а как? Каким словом назвать то, что было у них с Аленкой?

Нежность, какую зубами, мягенько пожимая хозяйкину руку, выражает собака, напоминала ладонь Осип Палыча. Краешком, боком, притиралась к бедру Аленки... Вздыхнул Осип Палыч, и осторожно, тихо накрыл всей ладонью, потискал коленку Алены.

Натянулась Алена как струнка, теплом ее тела ударило в руку Палыча. И грудь заходила высоко и нервно, и губки рас-

крылись, тая легкий стон. Замерла, не отстраняясь, смежила веки Алена...

– Значит, Аленка, поговорил я, похлопотал за тебя. Не тронут. Ты поняла?

– Да, – едва слышно сказала Аленка.

– Под мою, скажем так, ответственность. Ясно, да?

– Да... – легчайшее дуновение на губах Аленки, уловил Осип Палыч.

– Ален, – позвал он, несмело, желая, чтобы открылись ее глаза, – мы же будем ответственны, а? – заглядывал он в глаза Аленки.

Видя в них, что, конечно же, «будет она ответственной», да! – а куда ей деваться, он вдруг и сам ощутил, что не сможет сегодня – выдохся. «Всё! – признался он сам себе, – Потух, как петух...»

Удивляясь себе и жалея о том, что потух, он, сердясь на Аленку, убрал с ее круглой коленки ладонь:

– Всё. Давай-ка домой! Вот, как сказал, так и будет. Давай. Я потом, тебя сам позову. Поняла?

– Да...

«Точно, – поглядев ей в глаза, думал он, – как будто ее душили... Хватит, готова, кажется!» – решил он и поднялся первым.

– Постой! – отступив, обернулся – Ты девочка умная, все понимаешь! Ты, вот что, обдумай всё, и сама подойди. Вот как захочешь, так и подойдешь ко мне ответственно. Так

лучше. Понятно?

Не слыша ответа, расклеил улыбку и строго напомнил – Смотри, а то я всё обратно сделаю! Могу ведь раздумать, – он взял на ремень винтовку, и двинулся прочь. «Я ей устрою, если вдруг что!» А перед глазами пошла вереница женщин, доступных и должных ему. Надо было узнать и проверить: была ли слабость на самом деле, или так показалось? И силу вернуть, если уж так действительно случилось...

«Мария!» – решил он. И направился к женщине, которая отказать ему не посмеет...

Вру! – огорчилась Аленка...

«Вру! – огорчилась Аленка. – Про объявление «в Рейх на работы», и вот теперь придется... Вру Алеше. А про Семеныча?» Как слепой Алеша в ее руках. Но что будет, скажи она правду? В тот день, например, самый памятный в жизни. Был бы это день первой любви? Был бы, скажи она правду: «Алеша, не в Рейх на работы... Семеныча на эшафоте казнили!»? Правда – Алешу слабого, безоружного, просто убила бы. Не признался бы ей, не успел, что не сок чистотела – любовь Аленки вернула к жизни! И он полюбил, и старухе с косой рядом с ним стало нечего делать. А стоило правду сказать: «Семеныча, знаешь...»?

Счастье пришло, вопреки, или вместо правды. Но, лег на спину и плечи тяжким пятном, чужой, нездоровый взгляд.

Под ним прогорала живая ткань. Тягучий, липкий огонь подбирался к сердцу.

А в мире – чужая, гортанная речь, и чужие солдаты. Солнце одно не казалось чужим – потому что настолько оно далеко, что не может быть никому, ни своим, ни чужим. И для чужого солдата с голубыми глазами, который выстрелив первым, убьет Алешу, или будет Алешей убит – оно тоже свое. Но, Палыч, в сравнении с тем солдатом – ублодок!

Тяжким грузом ложилась на плечи Аленки правда, которую надо скрывать.

Войну отменить бы во имя любви! Это она ведь – война, а не ложь, кривит душу Аленки!

Не бросив подаренной немцем, цветущей ветви, Аленка поднялась со скамейки.

– Нам надо, Алена, любимый мой человек... – незнакомым, надтреснутым голосом, заговорил Алеша, дождавшись ее.

«Он что, догадался?! – упало сердце Аленки, – Как? Он что-то понял... Что понял?» – безжалостным, черным вихрем метались мысли.

– ...надо серьезно поговорить, Алена.

– Алеш, – поспешила она, – все нормально, Алеша! Не будут, вообще ничего здесь не будут делать. Никакой стекольни!

– Не будут?

– Ну, да. Никого тут не будет. Не надо бояться.

– А дальше? Алена, ты думала – что будет дальше?

– Я же сказала, никто не тронет...

– А жить как: бояться каждого дня, Алена? Бояться... –

взвесил Алеша, – Мне лучше уйти, Алена.

– Как уйти? Куда? Да ты что? Ты не можешь уйти, Алеш...

– Сейчас да. Но, скоро смогу...

– Куда? – горячий воздух обжег дуновением губы Аленки, – Куда?

– В ту же обойму, из которой случайно выпал.

– В партизаны?

– До фронта не дотяну...

– Леш? – прошептала Алена.

Такой же горячий воздух, колючий, пек его губы.

– Ален... – протянул он ладони. С лица, утонувшего в них, через пальцы, на плечи, на грудь, прокатились Аленкины слезы.

– Ален, а ну как узнают, кого ты спасла?! Понимаешь? Любимая. Ты понимаешь? Мне больно, Алена, сказать тебе это... Но, должен. Я больше всего дорожу тобой! И поэтому должен уйти... Я рискую тобой! Не по нашей вине, но у нас с тобой нет...

– Чего нет, Алеша?

– Будущего.

– Нет? Зачем же тогда, – возразила Аленка, – любят? Ты

думал? Ты – мой любимый!

– Война отменяет любовь! Я погублю тебя! Человека – лучшего в мире! Жизнь дороже всего, и ты, как никто – должна, обязательно, быть счастливой!

– Ты сказал... что я... – рыдания били Аленку, – что я же... любимая, Леш... А зачем, без тебя, это все?

Умел бы – сейчас бы, пожалуй, заплакал и сам. Он ее понимал.

– Алеша, – отстранилась она, отжала его руки, – любимых бросают? Скажи мне, бросают? Алеша?

– Нет! – признал он, но ничего не мог обещать Аленке.

– Ну, Аленка, так ты готова? Свидание делаем, да? – встретил Аленку в полицейском участке Палыч. Спыхватился и уточнил: – Ну, конечно, не здесь. А я все приготовил...

В Управе ему говорить было легче. Он ждал ее. Две недели, по-честному выждал. Она не пришла. Пришлось послать Никиту. Теперь пришла.

«Заразка!» – расстроился Палыч, вновь, как и тогда на лавочке, ощутив, как по краешку темного леса, мелькнувший испуг. «Потух, как петух! Вот еще не хватало!» Но взял себя в руки: проверено – нет, не потух! Все в порядке... С женой, в конце концов, спит. И Аленку – тогда еще мог бы... Побоялся чего-то, дурак...

«Дурак!» – повторил он, чувствуя мягкость, податливость

юного тела Аленки под платьем. Тепло ее гладенькой кожи с запахом солнца. Вспомнил, что все-таки, плюнуть хотела в него Алевтина. Рыкнул: бывает, стрелять человеку нечем – плюет, а потом – покойник. Аленка: дурак бы не понял – сможет плюнуть – не побоится. Размазал бы Палыч за это любую из баб!

– Ален, – не бойся, никто не узнает. Клянусь! Ну, давай... Ну, Алена, давай, ты ведь мне обещала. Ты помнишь?

– Я помню.

– Так, ну?

– Не могу.

– А чего обещала?

– Сейчас не могу...

– М-мм... – промычал Осип Палыч, – По-женски приспичило, да? – прикинув, орел он сейчас, или нет, еще раз промычал, и спросил: – Ну, а вообще-то, как же? Когда?

– Я же помню...

– Гм-м, – Осип Палыч сердился, – послушай, я ждать научился. Я выжду!

Он сел перед нею на стол и, беря за плечо, придавил ее голосом сверху, в упор: – Ну, когда?

Аленка глядела в нависший над нею живот и молчала.

– А, может, убить тебя, а?

– Убивайте!

– Ох-ох! – рассмеялся Палыч, подумав: «А толку?»

– Даже так? А могу и убить!

Аленка, помедлив, кивнула.

– Но убить успею. Сама прибежишь!

И, в прищуре, зло, посмотрел ей в глаза.

– Уведи ее, Пашка! – вскричал он.

– Куда? – появился Пашка.

– Домой! – показал Осип Палыч знак за спиной Алены.

– Давай, – велел Пашка, – вперед!

А когда она вышла, Пашка за волосы, грубо и больно при-
ткнул ее голову к поясу и потянул, не давая вздохнуть. Что-
бы тут же не рухнуть, она побежала, согнувшись, за ним. Он
шел, скорым шагом, смеялся, тащил, за собой как овечку.

Он все понимал, и смеялся над ней...

Дождаться Алену, Алеша хотел на ногах. Аккуратно, ста-
рательно, долго, кряхтя старичком, заправлял постель. Про-
шелся, преодолевая боль, ворча на себя: «Протащился, а не
прошелся, точнее сказать...» Нога, перебитая в двух местах,
стала на пять сантиметров короче; крупными клочьями вы-
рваны мышцы. А телу, по-стариковски худому, тонкие руки
и ноги, казались тяжелыми...

Он присел, прислонился к подушкам, вспоминая о том,
какой сильный соблазн покончить с собой пережил в сорок
первом, в июле. Так сильна, справедлива была в те дни жаж-
да избавиться себя от тоски и боли, избавиться других. Но ка-
питан развернул на запад и заставил смотреть на врага и

держат оборону. Оборону держали, нога зажила, и соблазн убить себя, ушел, как уходят прочие, недостойные замыслы.

Не напрасную смерть – смерть в бою, счастьем считает Алеша. Доступное счастье в военное время... Но безоружный, бессильный солдат, не по нраву военному счастью. Отвернулось оно от Алеши...

«Аленкой рискую!» – больше всего жалел он.

Сбитая мощным ударом, рухнула на пол входная дверь.

– Стоять! Руки вверх! – русский мат вперемешку – в дом ворвались чужие.

– К стене! Руки в стену, не двигайся, падла!

Обыскали проворные руки. Отвернулось военное счастье: Судьба оказалась подлой, как люди...

Кто-то сел, за спиной, на кровать. Потянулся табачный дымок.

– Да не может быть! – усмехнулся сидевший царем за спиной.

– Точно! Все обыскали: два кухонных ножика и молоток.

– Еще вилки... – смешок прокатился с кухни.

– Чего ж ты хоть револьверишко не положил под подушку? Лояльный режиму?

Насмешливый встал, сбросил на пол постель, раскидал ее, перещупал руками.

– Лояльный... Тем лучше! Ты слушаешь? Вот стой и слушай, что я говорю. Завтра, чуть свет, ты, как хочешь – полз-

ком, на чьем-то горбу – добирайся в депо. Убивать мы тебя не будем, пока. А рабочие руки – вот как нужны Рейху! Запиши его Пашка, ты знаешь кто он?

– Да, конечно, знаю.

– Действуй!

«Алексей Николаевич Тулин. Тысяча девятьсот девятнадцать. Депо, машинист – записали его – к режиму немецкого Рейха лоялен».

– Шлеп-нога он ползучая, не машинист! Да напильником шкрябать будет, за милую душу! Ты понял, Тулин? Кончился твой санаторий! Понял?

– Да, – выдохнул Алексей.

– А не появишься – сам, семья – под расстрел! Да тебя ли учить: не хуже нас знаешь! И мамашу, не переживай, не забудем, Аленку – тем более!

– Ну, все, мужики! – отвернулся насмешливый голос, – Собирайтесь. Пошли отсюда!

Он прибрался как мог, в перевернутом доме. Приладил дверь. «Почему пришли? – не мог понять он, – Дверь сорвали, не постучавшись, с ходу – знали кто здесь... Откуда?!»

Где Аленка? Что с мамой? «Всё, – утопил он лицо в ладонях, – я свою войну проиграл!»

– Ну что, Пашка, ушла?

– Алена?

– А кто ж?

– Ушла.

– Ты ей в харю не бил, а? Следов не оставил?

– Не-е, Осип Палыч, по харе не бил. И не трогал. В кутузке

закрыл и не трогал.

– Плакала?

– Не-ет.

– Сказал, чтоб в науку пошло?

– Сказал.

– Как сказал?

– Сказал, что на воле ей думать плохо, значит, думать научим здесь. Что это первый урок, для начала.

– Ну, дай бог!

Аленка тихо вошла в дом...

– Стой! – крикнул из глубины Алеша, – Стой там, пожалуйста, я к тебе сам подойду.

«Ждал, и хотел удивить меня!..» – поняла Аленка.

Высоко поднимая тело на здоровой ноге, волоча покалеченную, он сам шел к Аленке.

Увидев улыбку в знак изумления и поддержки, смутился, ойкнул, но зашагал неожиданно ровно, быстрее и легче.

– Спасибо, Аленка! – взял он ее ладони и притянул к губам, – Ты знаешь, как я этого ждал!

– И я...

– Ну вот, я пришел... И ты знаешь, зачем я пришел? – он старался шутить, он таким был до войны. – Пришел сказать: ты права – не бросают любимых, Алена! Я твой. Твоим остаюсь и останусь здесь.

– Ты... – не поверила, даже не зная, чему, Аленка: неверно дрожащим слезам у себя в глазах, или словам Алеша, – Ты не уйдешь от меня, Алеша?

– Нет, Ален, не уйду!

– Никогда?

– Никогда. Мы – вечность. Одна, небольшая звездочка в небе – Судьба. Или... – он улыбнулся, – мы будем спорить?

– Что ты?! – с дыхания сбилась Аленка, – Я так ждала ЭТИХ СЛОВ...

За окном, туманностью звездного неба, прошла, поравнявшись орбитой с Аленкиным домом, тень холодной дождливой ночи. Он таким был легким, Алеша, в ту ночь, на тележке стекольщика... И босые, худые ступни наружу, из-под дерюжки. Хитрость двух женщин: придать вид покойника... И ветер: бивший струями злого дождя, солонеющего в глазах его мамы, одиноко бредущей назад. Давно всё это стихло – в далекой туманности звездного неба...

– Не удивляйся, Алена, – смущенно признался Алеша, –

тут были гости. Я спал, не услышал: стучали. Поэтому сбили дверь. Свои, деповские... Завтра пойду к ним на работу.

– Как, Алеш, да ты что?

– Ты же видела, я хожу. А депо – вариант хороший. Получу аусвайс, и не надо прятаться, прятать меня. И я просто могу быть с тобой, и твоим. Это ведь хорошо, Алена?..

– Но, как же ты сможешь, Алеш? Они что, не видели, что ты болен?

– Смогу! Ради нас, смогу! У меня теперь камень с души: я тобой рисковал, Алена. А напильником грюкать, я точно смогу.

– Только не на паровоз!

– Какой паровоз, я в него не заберусь...

– Умоляю, Алеш, только не на паровоз! Хорошо?

– Ну... – пожал он плечами, – конечно.

– Алеш, обещай, ты не сядешь на паровоз!

– Не сяду...

– А-а, Тулин? Ждали тебя мы, ждали! Ох, е-мое, да какой же с тебя работяга? А ведь машинист?

– Был.

– Ну, машину знаешь, учить не надо. Ремонт, стало быть, по зубам.

А зубы нужны были крепкие, и силы рабочей – много. Вагоны, и паровозы-калеки, шли в депо каждый день. Война

разрывала на части, калечила, жгла их за то, что они могли двигаться, значит, как люди, служили войне. Воевали тоже...

Поняв, что Тулин перехватил его наблюдающий взгляд, мастер Гнатышин, спросил

– А ты знаешь, что коменданту сказали, когда аусвайс тебе делали?

– Нет.

– Наврали, что ты на железной дороге, под Ершей работал. Попал на подрыв, стал калекой, а теперь переехал к родне.

И добавил:

– Забавно: ведь к нам – не на площадь отправили. Ангел-хранитель? Судьба?

Испуг предвкушал он увидеть в глазах изможденного, покалеченного человека, но всмотревшись в них, обеспокоился. «Зачем ты сказал об этом?!» – прочел он в холодных зрачках Алексея Тулина.

– Ты очень молод, – примирительно согласился Гнатышин, – все может быть: и судьба, и баловство с ее стороны. Просто, случайностям не доверяю. Причина всему есть...

– И цена слову есть, а не только причина! – сухо заметил Алеша Тулин.

Он не угрожал. Смешно угрожать Гнатышину, только Гнатышин опять пожалел: «И черт меня дернул сказать!..»

В дверь к Аленке вежливо постучали.

– Осип Палыч?! – удивилась Аленка. Опешила, отступая, не зная, что делать, что говорить...

– Что-то с дверью, Ален, – Осип Палыч вошел уверенно. Обернулся, ощупал косяк и шарниры, – непорядок, а?

И улыбнулся, отряхнув одна об другую, ладони.

– Сломалась – сказала Аленка.

– Ну, да ничего. Ведь стоит. Посторонних не пустит, так?

– Ну, – согласилась Аленка, – стоит.

– Когда стоит, – он опять улыбался, – это, Ален, хорошо!

Плохо, когда не стоит.

Поняв, что не поймет она хитрой шутки, он сменил тему:

– Ты мне вот что скажи, тебя Пашка мой, не обидел?

– Да нет, Осип Палыч.

Халатик, который, наверное, мама купила дочке еще подростку: потертый, но стираный, свеженький, делал Аленку чуть угловатой... Но открывал, боже мой! ее ноги, до самых, до самой, почти что...

– Алена, – решился пройти в ее комнату, Палыч, – Ален, да, ты знаешь ли, что я пришел? Я, вот что... Я же тебе, со стекольней помог?

– Помогли.

– У-ух, да так, ничего ты живешь, Аленка? Кровать вот такая широкая, а!

Он сел на кровать и отставил винтовку. Ему б спохватиться: не зря ли так далеко отставил?! Но тянуться к ней снова, чтобы исправить ошибку, было бы как-то нелепо.

– Так вот, помог, и еще помогу. Ты скажи только, как? Ну... Ты хочешь чего? В чем нуждаешься? А я могу. Всё могу, Ален!

«Дурак! – свечением, как-то похожим на то, что блуждает в полярном небе, мелькало в глубинах души, – ты же мог её, Осип Палыч, уже и не раз...» Терял он себя, отчего-то, при ней. Но хотел, господи, как он хотел её!

Она, отступив, стояла напротив, скрестивши руки. От этого вверх, по животу, под грудь приподнимался и без того короткий подол халатика...

– Ну, вот, Ален, например, пайком. Или как его там, фуражом – тьфу ты-ё, – мануфактом... Ну одежда красивая, в общем. Для женщин. Красивая ж ты, Ален! Вот, тебе! Я могу, – у тебя все шкафы будут, во! – показал он ладонью над головой. – Такие платья, бельишко, ты знаешь: трусики-лифчики – шелк. И для тела – одно удовольствие, знаешь? Ты знаешь, Аленка, какое от них удовольствие – этих вот, трусиков шелковых, а?..

Губы Аленки сжимались: один уголок она, пряча волнение, втягивала, и, не замечая, кусала. Пальцы приподнятой вдоль отворота ладони, теребили краешек, как раз у той самой ямочки, между ключиц.

– Оно пусть не новое, но всё поглажено, чисто, Ален... – развернул он перед Аленой сверток с прелестью, о которой только что говорил.

– Это... – осмотрела подарок Алена, – Их заставили снять,

а потом убили?

– Ален, да не только. Вот, тьфу ты-ё – из шкафов конфискуют... Ален, – протянул он руки, – ну, подойди.

Она раскрестила руки. Убрала их за спину.

– Ален, – подождав, опустил он голову, – ты понимаешь, люблю. Вот, чего же я так? Я люблю... Из-за этого все...

Он чувствовал, как отшагнула она от стены. И губки уже не кусала. Они раскрылись, выдавая таинственный, едва различимый выдох...

«Подходит!» – зажмурился, замер Палыч...

Но она, отшагнув от стены, не приблизилась. Отвернулась, припала плечом к равнодушной стене, поникла, и стала пониже, поменьше... Лицо скрылось в лодочке сжатых ладоней.

– Не веришь, ты мне, Аленка? Конечно, не веришь. Зря... Я, знаешь ли, может быть, человеком мог стать. Тебе – вообще бы всё сделал... – теребил Осип Палыч не принятый шелковый бельевой гарнитурчик. – Пойми, никому не скажем. Я ведь понимаю – свое у тебя может быть; у меня – своё. А что мы с тобой – это полная тайна. Гарантия – это, сама понимаешь – я точно тебе обеспечу!

– Не хочешь, Аленка? – приблизился он. Ладонью, тихонько, подушками пальцев скользнул по спине. Легонечко чиркнул направо-налево, у самой талии.

– Вот что, – почувствовал он что растаял, как и тогда, ушел снова последний шанс...

– Я тебе, всё, понимаешь, с душой, рассказал... Не надо тебе по-хорошему? Нет? Значит, смотри – и не будет! Не будет, ты слышишь? Ну всё, я пошел!

Он знал, что у них есть время, но время работает против Аленки. Ждал, что она его остановит. Но она и не шелохнулась.

– Прибежишь! – процедил он у порога, и резко захлопнул дверь.

– Мам, это я, открывай!

– Господи, Леш? Сам пришел? Боже...

– Да, мам, я уже на ходу. Я работаю, мам.

– Знала – Аленка с тобой чудеса творит. Своими глазами видела. Но чтобы вот так... чтобы сам пришел... Да еще на работу!?

– Всеёхорошо, всё могу теперь, мама!

– А немцы не тронут, Алеша?

– Нет, мама, не тронут. Есть документ. За меня теперь, за мои руки рабочие, пусть поволнуются немцы. Мне бы – чтоб ты не болела, мама, чтоб у тебя было всё хорошо!

Не могла мама прятать слез:

– Алешенька, сын мой, спасибо! Ой-х, головушка ты рискованная... Заявился в депо: а ну, как бы сказали, кто ты. За Аленку ли не боялся? Про мать не подумал?

– Мам, они сами пришли.

– Как это, сами пришли?

– Так. Пришли из депо и сказали, что рук не хватает, приходи, тебя ждут. Аусвайс и паек получишь.

– Как, сами?

– Да...

– Никто ведь не знал, что ты здесь.

– Думал, ты за меня просила...

– Какой там просила! Ты что? Я боялась. Боюсь, за тебя, сынок! Я ж тебя и Аленке-то отдавала, чтобы никто не знал. Ой, Лё-ёш... – бессильно упали мамины руки. – Ой, Лё-ёш, если бы знала, что можно так просто, открыто, пойти в депо, ни за что бы не отдала Аленке...

Предчувствие

Было предчувствие... Весь день старалась не дать ему воли Аленка. А близко к полуночи, стало понятно: Алеши сегодня не будет. «Я? – стала думать Аленка, – Что я могла сделать так, чтобы он не пришел?»

Слеза накипевшей горечи, и боль от прикушенной губки, плавил сердце Аленки. Где? Кто? Какой человек, родной или просто мудрый, способный понять беспощадную правду, сумеет понять Аленку, и разобраться в том, что она творит? Кто-нибудь там, среди звезд? Или здесь, на земле? Таких нет. Нигде нет! Всевышний и Родина – даже они, разве вправе они, осудить Аленку? Да ведь не у них, и не у войны

– а у смерти, выхвачен ею Алеша! И в том, что она натворит с собой, с ним, и с ними – правоты будет больше, чем солдат у обеих сторон войны!

Главное – понял бы это Алеша. «Рассказать всё как есть?» – металась мысли Аленки...

Звезды казались близкими – дотянись рукой до окна – а за стеклом они. Но звезды не за стеклом, они дальше окна – они в бесконечности. Разве поймет её Леша любимый? Рассказать – все равно, что расшторить окно. А до истины так же и будет – как из окна до звезд. Ничего не расскажет Аленка, не надо – поздно!

А что мог Алеша узнать? Что был Осип Палыч в доме? Что он ее трогал?

Алеша у мамы? Наверное, там...

Аленка всю ночь провела у расшторенного окна, за близким стеклом которого угасали далекие звезды...

Алеша вернулся к полудню. Усталый и потемневший от угольной пыли. Обнимал, целовал Аленку с той же, прекрасной тоской и любовью, как прежде. Умыла, раздела его Аленка.

– Что ты, я сам, – возражал он.

– Нет, Алеша, – не соглашалась она, – ты устал, а я только ждала.

С каждым вдохом и выдохом ближе и осторожней, тяну-

лись они навстречу. «Райское ложе!..» – ценил, улыбаясь, Алеша, грудью вливаясь в прогнутую спину Аленки. Бедра вошли в уголок ее бедер, замерли, застывая перед восторгом взаимной радости, счастья проникновения...

Пока на боку. Пока только так: пока раны войны не отведут своих объятий от тела Алеши...

«Ты, только ты мой любимый, Алеша!» – беззвучно кричала она, переживая прекрасно-высокий момент извержения. Бережно выйдет тело Алеши из тела Алены. Истома – истина высшего счастья, затепляла, лампадкой в душе, добрый след. «Только ты мой любимый, и больше никто, Алеша!» – кричала Аленка во тьму Вселенной...

И ощутила боль, взглянув из Вселенной на землю, где шла война...

– Ален, – вечером попросил Алеша, – не сердись, пожалуйста... Меня надо завтра собрать в дорогу. Надолго, на три дня. Не сердись. Я теперь – машинист...

Пыль антрацита на теле Алеши, наутро после бессонной ночи Аленки – теперь стало ясно всё...

– Алеш! – понимая, что не Алешу, но, не зная, кого молить, уронила Аленка голову, – Алеша, не надо на паровоз, умоляю тебя, заклинаю, не надо!

Нелепой казалась Аленка со стороны: сползающая на пол, слезой орошая его колени, просящая:

– Я умоляю, не надо!

Но, война и любовь не способны на сделку...

– Леха на паровозе?

– Да, Палыч. Уже вторым рейсом.

– И как?

– Гнатышин противился. Толку с него, говорит, – в паровоз не залезет. А ты, говорю – на руках его вкидывай. Там пусть рулит, а кочегарить – есть кочегар.

– Значит, рулит? М-мм... А ты вот что, ты завтра к Аленке сходи, передай привет.

– По-нашему?

– Я тебе дам! Нормально. Скажи просто, что я передал привет.

– Передам. То есть, просто скажу! – «Да уже бы давно, – про себя посмеялся, Пашка, – её бы давно, как нормальный мужик, уложил! Чего надо? Ведь дело такое: добром не кончить – свихнуться можно!»

«А может, – сводил скулы Палыч, – и правда: взял, опрокинул Аленку, и все дела? И твоя – до копейки, вся! Чего я?»

Да опять, холодок неуютный бежал по ногам к животу. Копейки с Аленки, подмяв ее, не получишь! Не та: она не боится. Она в харю плюнет. «Пес дряхлеющий!» – признавал он сам, что просто учуял в Аленке нежность, какой не познал ни с женой, ни вообще, хоть раз в жизни. Ни с теми, кого,

свою власть используя, он получает сейчас.

Никто не поймет: Аленка, в сравнении с бабами – так, пигалица; а, по сути сравнить – ангелок! Цветок ангельский! Что ж его мять? Насладиться, сорвав аккуратно, мечтает Палыч. С нежностью девственной, нерастраченной, пусть же сама: стыдливо, неловко и неумело к нему припадет Аленка. Вот чего хочет Палыч!

Ну, пусть упредил его Тулин, да он же калека. Может, дай бог, и не дошло-то у них до дела, куда ему, Лехе Тулину? Но если уж и дошли – отступать Осип Палычу некуда – сам далеко зашел...

Он один в кабинете. Прикрыл глаза. Всё само решится. Всё подходит к тому, что Аленка – его... Аленка, которую он и боится, и хочет – она сама будет трогать его руками. Не только руками, а губками – и не только в щечку... Всё будет. Тулин на паровозе – должно теперь быть. Она все поймет. Придет, уже завтра, с нижайшей просьбой. А нижайшая просьба – уж ясный перец: стоять за ценой – безнадежное дело.

Безотказное дело, и все хорошо: Леха в рейсе, Палыч – с Аленкой, мечтает начальник полиции. У неё-то молчать – интерес свой собственный. А там, глядишь, и судьба черту подведет – военное время – паровозы летят под откос...

Он цепко ее прихватил – дьявол, возжелавший купить душу ангела.

Я слушаю, фройлен!

– Фройлен! – навстречу Аленке вышел и преградил путь, автоматчик.

– Герр комендант. Мне к нему. Он вызывал меня.

– Руфен зим их ан?

– Да, раньше...

– Айн минут, фройлен!

– Я слушаю, фройлен!

– Вы меня вызывали, раньше...

– Я?

– Да, да, Вы. Стекольную там делать...

– Стекольня? Что есть стекольня?

– Мастерская для стекол, окна...

– Кто вызываль?

– Вы.

– Найн. Фройлен, найн, не надо мне Вас. Не вызываль!

– Ну, давно...

– Не надо Вас, фройлен.

– Ну... – растерялась Аленка.

– Просьб у Вас есть?

– Да, есть?

– Я слушайт.

– Тулин. Это мой муж, Тулин, в депо. Он работал в депо.

Ремонт. Напильник. Вот, – стала жестом показывать герру,

Аленка, – Напильник...

Обозначив одной рукой верх напильника, а другой – рукоять, она стала показывать, как им водят туда-сюда.

– О, – посмотрел комендант и улыбнулся, – Вы сказали, напильник?

– Напильник. Вот я хочу напильник, не машинист. Он теперь – машинист.

– Машинист, я, я...

– Вот, а я не хочу машинист. Он больной. Очень больной. Нога, – показала бедро Аленка, – короткая. И живот... – показала ладонью.

– Вы хотите как?

– Я хочу, хотела «напильник». Вот так, – она показала опять, напильник. Одна ладонь обхватила сзади, другая спереди. Туда-сюда, туда-сюда...

– Гут... – наблюдая за ней, сказал герр.

Она отвлеклась. Ладонь в обхвате, осталась у живота, а другая все так же: туда-сюда, туда-сюда...

– О-о! – оживился герр. И присмотрелся, как она, кулачком, в обхвате на толщину рукоятки напильника, водит рукой: от себя и к себе, от себя и к себе. И смотрит, при этом в глаза коменданта. Он осмотрел Аленку, неторопливо, всю, сверху донизу. – Напильник?

– Да, я хочу «напильник». Нога, – показала она, – и живот, – ещё раз показала, – плохо...

– Фройлен, я тоже, хочу напильник. И, – Вы, фройлен, –

напиник... Вы понимает?

– Понимайт! – закивала Аленка.

– Гут – комендант улыбнулся и уточнил: – Туль-ин?

– Да, да, Тулин. Чтобы в депо.

Комендант наклонился к столу. Записал: – Туль-ин. Не машинист – депо!

– Да, да, – радостно закивала Аленка.

– Гут, – сказал комендант, – фройлен. Депо. Завтра.

– Нет. Завтра, сегодня, и послезавтра, он на паровозе, в дороге. Паровоз! Он, – жестом вдаль показала Аленка, – там! Через три дня – здесь.

– Еще просьб?

– Нет, нет. Больше нет. Спасибо!

Комендант по-немецки кому-то скомандовал в коридор. Появился солдат. Показав на Аленку, комендант дал ему распоряжение. Солдат повернулся к Аленке и пригласил идти.

Домой она прибыла на легковой машине комендатуры. Солдат ничего не сказал: ни слова не знал по-русски. Улыбался, пока её вез, сказал: «Ганс». «Ну а я, – показала ладошкой на грудь, улыбнулась она, – Аленка». Он пристально глянул, куда показала ладонь. Улыбнулся. Добавил, может, что-нибудь, так, про себя; на своем... Он был очень любезен и проводил до двери.

Аленка считала себя счастливой.

Цена связке в военное время

«Кочегар – машинист» – цена этой связке в военное время, особая – жизнь. Жив напарник – жив ты. Он умер – значит, и тебя уже нет. Нет, кажется жив? Ерунда – ты догонишь его! Связка, в которой нельзя умереть в одиночку. Много-тонный кипящий котёл и горящая топка не оставляют шансов ни одному, в кабине. А паровоз при подрыве первым уходит с рельсов в бездну.

– Что-то с Гнатышиным ты не поладил?

– Я? – удивился Алеша.

– Ты. Хотя он – человек мутноватый. Однако, к начальству близок, и от него, по большому счету, мы все зависим.

– Мы говорили с ним один раз.

– И что ты сказал?

– Сказал: «Нет»

– И всё?

– Да. Он спросил: знаю ли я, что обо мне говорили, когда делали мне аусвайс. Я сказал: «Нет»

– А ты и не знал?

– И не знаю. Знал, что найдут – прикончат. Жалел об одном: никого прихватить не смогу: ни ствола, ни гранаты, ни даже, штыка – ничего при себе. Вот об этом жалел...

– Он, видишь ли, намекал, что всех уничтожили. Семенича – на эшафот, а тебя – в депо. Прямо не говорит – начальство само на твой счет решало. Но мысль, как видишь, имеет. И не молчит. Капает. А капли стекаются в ямки.

– Вот как... – лицом потемнел Алеша.

– Гнатышин – подлец, но в твоих делах он ни при чем. Получилось, как в сказке... Хорошей сказке – ты злейшим врагом новой власти считался, так ведь? А тебе вон и жизнь сохранили, и на работу пристроили, чтобы кушать мог... Не сказка? Одно, Леха, знаю: взрослые сказки плохо кончаются – больно хитры!

– Даже не думал об этом... – оторопел Алеша.

– Я старше, думал об этом, и понимаю. Но в дураках не хочу оставаться, и в те намеки: мол, Тулин устал воевать, покалечился, предал своих – не верю. Но как другие? Плохое уж так легко видится, Лешка – особенно в непонятных вещах...

– Лучше б убили! – простонал Алеша.

Егорыч решил сменить тему:

– Каждый рейс со старухой навек прощаюсь: а вдруг не вернусь? Все может быть... А теперь, так вообще понимаю, что если вернусь – это чудо.

– Почему?

– А ты посмотри: не в тыл – а по рокаде * (**Дорога рокировки войск: вдоль линии фронта, вблизи от нее*) идём. Это раз. А второе: ты видел, нам в сцепку добавили десять платформ?

– Видел.

– Что там?

– Танки.

– Танки... А если твой брат партизан, уже знает об этом?

Ты, просто так пропустил бы танки?

– Их место в кювете!

– Так и я же о чем? – нескладно бодрясь, улыбнулся Егорыч, – До ночи живем, а там... – он вздохнул и развел руками.

Состав, в металлическом громе колес, летел в сумерки, плывущие от горизонта навстречу – как под занавес, в темноту...

– Говоришь, что жалел: ни штыка, ни гранаты. Смерти напрасной боялся... А ведь так и выйдет. Судьба – она справедливость по-своему чтит! И милосердия в ней – с ноготок...

Жизнь в подарок врагу отдать – что может быть горше, страшней, для солдата? Камень, громаднейший камень, ложился на сердце Алеши...

«Не особо, кажется, – хмуро вздохнул Егорыч, – удивлен машинист, что наше песенка спета... Такое приходит в смирении, или...» Поммашиниста Егорыч, хотел бы понять: каким может быть «или», когда пришло время итожить, и последняя точка, вот-вот завершит содержание книги по имени Жизнь. Единственной, среди книг, которую невозможно переписать, повторить, размножить на типографских маши-

нах.

– Верно сказал, Егорыч: судьба справедливость по-своему чтит, – печально признал Алеша, – вот только жаль, милосердия в ней – с ноготок...

Чернеет небо... Все пока живы, несется состав в черноту, как в бездну... Живы, и даже воспрянула вера: завтра, нет, послезавтра, Алеша с Аленкой встретятся! «А почему? – согреваемый каплей надежды, подумал Алеша, – Почему мы должны умереть? Мы с Аленкой отдали войне уже всё, почестному и без остатка – всё! Почему умирать, если мы рождены для жизни?»

Предчувствие встречи с Аленкой, казалось сильней беспощадной правды... Но сила предчувствия не обещает: здесь, в доме любимой – или там состоится встреча – на небе?..

Фройлен Алонка

Аленка украсила дом цветами. Нашла, набрала их близко, около дома: война их не трогала, они цвели как всегда, не боясь войны, не замечаемые солдатами. Аленка украсила дом. На кухне и в комнатах, на подоконниках, полках – везде, где просились сами, откуда они могут встретить Алешу – были цветы. Счастью много ли надо? Не много. А счастьем Аленки, вообще, просто мизер – Алеша, и все!

Дом-отшельник – привыкла Аленка, и удивилась, услышав, что перед окнами остановилась машина. К ней? С чего? С тех пор, как табличка висит и написано: «Хальт!», ни кто, кроме двух полицаев, не подходил. И ублюдок еще, Осип Палыч, да сын его Юрка, вторгались в дом... Гостем к Аленке никто, со дня оккупации, не входил. А Палыч, Юрка – здесь больше ноги их никогда не будет! Зачем – Аленка сама с комендантом Бретером договорилась. Решилась судьба Алеши.

Хлопнули дверцы, Аленка с тревогой взглянула в окно. От машины к ней направлялся веник – цветы, в руке коменданта Брегера.

«О, боже!» Растерянная, недоумевающая Аленка открыла дверь.

– Вечер... такой, да, Алонка? – подыскивал слово для комплимента Карл Брегер.

– Добрый.

– О, я, Алонка, я, я! Добрый вечер, Алонка! Тебе!

Аленка, куда ей деваться, взяла цветы...

Не ожидала, а Брегер не ждал приглашений... Вошел, огляделся, и легким свободным шагом не гостя, а вежливого победителя, Брегер пошел в кухню. Ложились из саквояжа на стол помидоры, зелень; сыр, колбаса, и всякие вкусности. Всё для Аленки...

– Это правильно, ужин, Алонка?

– Правильно.

– Вот, – улыбнулся ей Брегер, – давайте. Шнапс, русский водка, или вот это? – осведомился он, подняв из глубин снеди, бутылку вина. Не советскую, может быть, французскую...

– Да... – кивнула Аленка.

Она сама делала ужин, в собственном доме, незваному гостю, который взялся помочь в судьбе её любимого человека. А после, Карл Брегер спросил:

– Патефон?

– А, нету... – призналась Аленка.

– Момент!

Он вышел. Вернувшись сказал:

– Хорошо!

Прошло, может пять, ну, чуть больше, минут – у них был патефон. Музыка тоже была не знакомой, такой, что Аленка еще ни когда не слышала. Немецкая, или может быть, тоже – французская. Приятно, и неуютно, одновременно, Аленке. Враг? Но она бы его не убила. Зачем? Люди и так очень много убили людей. Неплохим, может быть, человеком, только немцем, был он. И он думал о ней, и шел ей на встречу. А главное – Алешу он снял с паровоза и записал в депо!

Они танцевали. Аленка умела – отец научил. Карл Брегер смотрел ей в глаза и куда-то вверх. Может, видел свое... Кто она? Для него – точно так же – чужая. Он мог ей помочь и помог...

Ладони его: может он забывался, входили во вкус. По-

блуждав по плечам, распушив и разгладив волосы – что показалось Аленке приятным – руки скользнули вниз, и, как неумные заговорщики, чуть помедлив на ляпочках лифчика, насладившись, потянулись всё дальше и ниже по телу Аленки. Аленка оторопела, а пальцы Брегера набрали через платье на тонкий резиновый поясok под платьем, на талии.

– О-оо! – затаил дыхание, разволновался немец. – Алонка, напаник... Алонка, – повторял, закрывая в глаза в истоме... – Алонка, ты слышишь? Я очень-очень, хотел напаник! С тобой, Алонка...

Выждав, открыл глаза. Чуть сверху, близко, смотрел в глаза.

– Вы поняль – напаник? – вежливо, выжидающе, улыбнулся он.

Он не видел плохого в том, о чем говорил. А может, черт его знает, оно так и есть?

Чего она знает? Чего в этой жизни успела Аленка? Вынесла Лешу оттуда? Он любит ее! А она – еще с пятого класса. Но разве поймет это Брегер? Ему это нужно? Нет! А она постарела. Она постарела сейчас, в один миг, на сто лет. Она все поняла! Палец Брегера, снова прошел по резиночке сверху, потом, скользнув книзу, нашел, и прошелся по нижнему краю интимной одежды. Брегер увлекся, ладонью развернутой упоенно срисовывал треугольничек скрытой под платьем одежды, глядя Аленкину талию, бедра, и наслаждался.

«Что ж... – безнадежно, горько признала Алена. – Это

проклятие, эта война – оказалась сильнее!» Карл Брегер – чужой. Он – враг. Но Осип Палыч – ублюдок! Сдаваться ублюдку – горше сто крат, чем сдать врагу! Брегер получит свое. И никто не узнает!

Алеша – вот он, не узнал бы! А есть у Аленки выход? Избавление – да: на войне оно всегда близко... А выхода нет! Любовь не лишь понаслышке и в книгах, жертвенна – вот, прямо сейчас, ставит она перед фактом Аленку! Ставит ее на колени... Безжалостно ставит. С глаза на глаз, и лишь утешением робким бродит сторонкой мысль о том, что Аленка жертвует только собой...

– Идемте, яволь, – прошептала Аленка.

И сама расстелила постель.

Он, не колеблясь, стянул мундир.

– Ой, Алонка, Алонушка, жду! – шептал он.

Обреченно, медленно, поднимала Аленка подол выше бедер...:

– Алонушка, стой! – опередил ее немец, – Я сам!

Приблизился к ней. Осторожно взял плечи. И впился в губы. Покусывал, мягко, нежно. Он хотел, чтобы всё шло красиво. Он умел быть любимым, любить...

– Найд! – отстранилась Аленка.

– Вы что? – отстранился Брегер, – Ты думайт, Алонка?

– Не хочу! – «Не на пятом, жаль!» – сокрушалась Аленка.

Будь пятый этаж, она б кинулась вниз.

– Алонка! – он сел на кровать, – Значит, нету напиник –

не будет депо! Понимайт? Депо – повторил он, – Туль-ин, депо – никаких! Нет напиник – депо – никаких. Я – вот так!

Жестом – три режущих росчерка, слева, на право, он ей показал, что из списка он вычеркнул имя Алеши и слово «Депо».

– Вот так. Понимайт?

– Понимайт...

Аленка приблизилась. Он дотянулся. Он вытянул руки, приник лицом к ее животу, раскрывая ладони, обвел ими бедра и потянул к себе. К губам. Коснулись Аленкиной кожи горячие губы. Незримый, сладкий нектар покотился по ним, даря удовольствие немцу.

Не много как штормку, отвел он подол платья кверху. Губы припали там: под подолом, у верхней границы открытого тела. Чуть выше... Брегер замер на миг, и загорелся как спичка!

Потянулись ладони вниз, потом вверх, обнажая Аленкино тело.

Постарела Аленка, в миг, на сто лет. Она все поняла! Прекрасное тело бесстыдно, безжалостно предавало ее.

Ему показалось: она бы упала, и он подхватил, увлек. Уложил перед собой. Приник, прижался в ожидании трепетной инициативы. Не дождавшись, сам, протянул под живот Аленкину руку, направил, блаженно проник...

Прекрасное было под ним, его можно мять руками... В него можно влить часть себя самого. Торжественный след

в чужом теле, на этой земле! За него рисковали: рыцарей, павших за это, не счесть. Прекрасна, майн готт, Аленка, и – безоружна!

Коварный предатель Аленки – прекрасное тело её, не убивало, а наслаждалось, отдаваясь как ястребу-дьяволу, чужо-му мужчине!

Она приходила в себя, сознавая: жива, и не зная – зачем? Она была безнадежна. Она поняла это, как только Брегер поник, оставляя торжественный след в ее теле. Когда обессилел на ней. Покорное тело, дав волю тому, что природа в нём заложила от сотворения, вздорило с ней, – Аленкой. Они расходились: душа и оно!

Да, это была безнадежность. Она повторяла: «Алеша!» Она поняла, что душа, отстранившись от тела, назад не вернется. Крест, в семнадцать Аленкиных лет! Аленка не испугалась этого, но думать о Леше уже не могла. О чем речь, она умерла...

Довольный, уставший, Брегер тянулся к ней. Торжественный след, жаждал, ждал продолжения. След должен быть бесконечным!

Получивший своё, он переменялся. Терпение рыцаря перед безоружной, прекрасной фройлен, сменялось жаждой взять все остальное. Он гладил плечи Аленки, затылок, распушивал, расправлял ее волосы, трогал за ушком. И потихо-

нечку, исподволь, поощрял и подталкивал губы Аленки, все ниже и ниже к своей груди, к животу. И дальше.

– Алон, целовайт! – клонил немец губы Аленки, лисьей тропой, к вершине по имени «Пик удовольствия».

– Нет, – в живот Брегера, глухо, сказала Аленка, – я так не могу!

– Ум-мм, а что там, Алонка, случился?

– Ты только... кончил. Мокро и пахнет. Я так не могу...

– Мокро и пахнет? Алонка, майн готт! Ты помой. Возьми чуть горячий вода. Не холодный, Алонка, бр-р! Горячий вода, и помой. Вон трапка... – показал он на полотенце. Потом – всё хорошо!

– Сейчас, – соскользнула с кровати Аленка, – я сейчас. Есть такой, есть, как ты хочешь – горячий. Сейчас!

Он тоже поднялся, завел патефон:

– Лили Марлен... – мурчал он в пол-голоса, – Майн кляйн Лили-Алонка... А-ло-нка-а... – повторял он, зажмурив веки, наслаждаясь музыкой имени. Голый, чужой мужчина, враг, в её доме. Мурча про Марлен, улыбаясь, впрыгнул он под Аленкино одеяло.

Вода закипела еще до того, как принес комендант свой веник. В большом, двухведерном баке, Аленка хотела выварить, выстирать набело от антрацитной пыли рубашку Алеши.

Она посмотрела в окно, за которым, потом, уже после нее,

пережив эту ночь, засветится солнце. Невидимый ею и солнцем Алеша – сейчас, или скоро, начнет путь назад, чтобы встретиться с милой, любимой Аленкой.

«Поняла, – улыбнулась Аленка, – теперь поняла, Алеш, твою боль за жизнь, теряемую напрасно!» И взяла полотенцем горячие ручки кипящего бака.

Он ждал, растянувшись. Блаженный. С улыбкой, какие бывают на лицах счастливых людей. «Глаза прикрывают от счастья, – успела подумать Аленка, – и от яркого солнца...»

– Алонка! – шепнул он, – Давай же, Алонка. Я жду!

– Даю! – хрипло сказала Аленка.

И, приподняв до груди, опрокинула бак на блаженное тело.

Закрыла глаза, и не двинулась с места, застыла: «Алеша!». Лицо его промелькнуло сквозь пламя. Сквозь жаркие, алые сполохи в черной кайме!

Отчаянный, лютый по-волчьи, вопль, взорвал на куски тишину. Тьма побелела от крика! Окна вспотели от пара. Гревели, в ту же секунду, ступени и пол: врывались лавиной, вихрем сквозь двери и стены, чужие солдаты.

– Вас ист дас? О! О! Майн го-отт!!!

«Пуля быстрее, чем звук...» – успела подумать Аленка. Треск автоматных затворов – последнее, что она слышала. Многослойная крепость каменных стен распяла сметенную ураганным, горячим свинцом, Аленку...

В момент, когда нажимное устройство...

В момент, когда нажимное устройство сорвало стопор взрывателя, Леша, не видевший этого, думал о том, что счастье и даже в войну – не в том, чтобы быть живым. Счастьем нужен другой: как земля – семени, а земле – семя, чтобы дать ему корни, и выпустить к свету новый росток. «Другой» – это я, который сумел стать твоим, Алена! А «другая» – ты. Сошлись половинки. Сошлись: мы едины, Аленка!»

Пламя взрыва прожгло паровозное днище и, разрывая металл, устремилось в небо. Дикая мощь кипятка и пара, и ревуший огонь паровозной топки, в безумном, смертельном порыве, ударили в грудь и лицо Алеши – и в сторону неба, в стороны света, в того, кто был в связке... Агония, адовый скрежет по рельсовым нервам, объяли, круша и корёжа, состав с головы до хвоста. Свечками адова пира, вспыхнули и загорелись обломки, техника, люди. Танки – виновники пира, слетали с платформ, ломая коробки вагонов с людьми, снося головы, плюща в лепешку, тела.

Пламя остынет, осыплется пеплом на трупы врага, на обломки, на рельсы и на короба изувеченных танков. Ему повезло, партизану, солдату, Алеше Тулину: безоружный, бессильный солдат, не по праву военному счастью, но не отвернулось оно от Алеши – еще не остыло пламя, бликуя в стальных бортах изувеченных танков, гаснет в воздухе стон умирающих, уносимых вместе с Алешей в небытие, врагов...

Безучетная, щедрая пища огню, который не ведает боли, не знает меры – так войну видит солнце. Но если б познало оно эту боль – сдали б нервы. И солнце сошло б с небосвода...

Алёнка, Алёна!

Мечту потерявший начальник полиции Палыч, запил. «Что, я хуже Никитки? – угрюмо кривил он улыбку, – А что, Палыч, лучше?» – сам же себе отвечал, и сам признавал: не лучше. В бешенстве немцы Аленку повесили, голую, вниз головой. Ужас, внушаемый мертвым, изрешеченным пулями телом Аленки, витал в городке.

Но Палыч ведь знал, как прекрасен был этот, несорванный им цветок! Запил, отвернулся от жизни. А по ночам приходил. Брал баклажечку крепкой горилки, и приходил к Алене.

«Аленка! – стонал он, – Аленка... господи... – и гневно косился в сторону бога, сжимал кулаки, и скрипел зубами – Да разве ты есть?! Ты мелкий, такой же, как я, предатель! Скотина ты, господь бог! Я бы, старый дурак, тварь влюбчивый, я бы сорвал, пригубил ее... Не по нраву бы, пусть... Так жива ты была бы, жива, Аленка! А что теперь? Что? Ни солнца теперь, ни тебя...»

Волчонком скулил, качался, отрешенный от мира Палыч. А то каменел, как глыба, как дуб, с почерневшей в послед-

ною осень листвой...

«А я бы, я... – плакал он, – Человеком мог стать, понимаешь?..»

Не сумел он взять в руки заветный цветок – и потеряна жизнь, и теперь всё равно...

Отрешенный, не уловил полицай Осип Палыч рванувшего свежего ветра. Смотались, за двадцать минут, из Ржавлинки, немцы. А он, потерявший Аленку, пьяный с тех пор, припозднился. Очнулся – пилотки мелькали в садах, переулках и в центре Ржавлинки.

Пилотки со звездами... Винтовку в охапку – и тут же – бежать. А на встречу – Никита.

– Бежать, Осип Палыч? А я?

С размаху, как палка в колёса, кинулся в ноги Палычу.

– Ух-х, о! – прорычал Осип Палыч, плашмя, пузом вниз, полетев на землю. Винтовка скользнула из рук, полетела дальше.

– Ты что, ё-и-так! – взматерился Палыч.

Никитка, не дав протянуться к винтовке, вцепился зубами в плечо. «Последний захват!» – думал он. И не мог расцепить, даже если хотел, свои руки и зубы.

Но в горло уперся металл. «Носил-таки, курва, эсэсовский кортик!» Мечтал – это помнил Никита, – мечтал Осип Палыч, носить при себе такой кортик. А Брегер сказал: «Пао-

уч, нет! Не есть можно! Кортик – честь для эсэс. А тебе – нельзя. Нет чести. Поняль?»

Ну, какая у Палыча честь! – а носил кортик скрытно. Теперь его лезвие жадно легло к горлу Никиты.

«Дурак! – полыхнуло в мозгу у Никиты, – Заточка у кортика – только по жалу. А грани – тупые. А он меня режет... Дурак!»

Осип Палыч сообразил. Передернув в руке, сдвинул кортик, и острием воткнув с боку, вогнал лезвие в горло Никите.

«Зарезал, скотина, меня как свинью!» – благодарно подумал Никита.

Сообщение в НКВД...

Деповские – они всё это видели – скрутили главного полиция, Палыча...

На другой день, когда части, вошедшие первыми в Ржавлинку, были уже далеко на западе, становилось ясно: Палыча надо будет отдать властям.

– Палыч, – спросил брат машиниста Егорыча, – ты как, жить хочешь?

– Я? Я же вам... я же вас... берег! Я по-доброму к вам. Вон сколько вас – в живых ходят...

Вопрошающий не согласился, не стал и спорить. Ржавлинские женщины – вот кто теперь были судьей для полпреда немецкой власти Палыча!

Истина, правда, суть – не напрасно слова эти женского рода. Несогбенная, непокоренная, гордая Русь, опиралась на плечи мужские: от знатного витязя – до безыменного ополченца без шлема. Но исчезла, не устояла бы Русь, не будь женщин таких...

Женщины, девушки, девочки Ржавлилки, вынесли приговор полпреду немецкой власти, продажному весовщику, Осип Палычу...

– Вставай, Осип Палыч, пойдем!

– Куда? Русских нет?

– Успокойся. Их нет, ушли – немца гонят на запад.

Понурил голову, Палыч. Стыдно. Вдруг охватило его беспокойство, какого умом не понять. Оборвалась планка, между сердцем и животом. «Эшафот?» – беззвучно, без шороха, вскользь пролетела мысль.

Подняв брентную голову, Палыч увидел: да, эшафот! Тот же, в котором качала веревка Семеныча, тот, к подножью которого плюнул в тот раз Осип Палыч. Цепкие руки, как куклу с живыми ногами, толкнули, и потащили Палыча на пьедестал. На высокое место, на пуп эшафота – к петле.

– Вы что? – хрипел он, – Вы что, земляки дорогие. Браты и сестры! Вы что?

Он взлетел, потеряв опору. В страшной боли, и мутной волне, накатила и погас окурок, брошенный незаплюнутым

под эшафот, когда отдавал концы партизан Семеныч...

Гнатышин, как надо, подал сообщение в НКВД, что задержан – в депо, взаперти, содержится полицией Савинский. «Свинский, – подумав, добавил он, – так всю войну его звали...» Он всё написал: и про Воронцову – подстилку немецкую, и, конечно же – про двуликого Алексея Тулина, с потрохами продавшего Родину – кобеля этой С... извините, Аленки Тулиной. О последнем он указал год и день рождения, часть, в которой он служил перед войной, ну и всё остальное. Он же, Гнатышин, насквозь знал и его, и её, как и «Свинского».

«Серьёзный сигнал!» – оценил Гнатышин, и отправил его по адресу. Отреагировать должным образом, приехал высокий чин – подполковник из НКВД.

– Где Савинский? – спросил он первого встречного на улицах освобожденной Ржавлилки – Такой Вам известен?

– А... – получилась заминка. – М-мм, Он ведь, знаете, местный, наш человек. Весовщик, до войны. А бес попутал, поверил немцам, пошел к ним служить. Короче, он тут натворил... Его, скажем так, совесть заела, и он... – говоривший хотел закурить.

Подполковник угостил «Беломором».

– Ну а мы, стало быть, не углядели. А он – в петлю! Ту самую, где партизана повесили. В общем, что делать, не угля-

дели. Совесть заела Свинского...

Подполковник сказал: «Чёрт возьми!» и отдал «Беломор» – всю пачку, перовому встречному.

Подполковник НКВД обошел потерпевших. Он слушал, записывал: разбираясь в том, в чем не смогла разобраться жизнь. Выслушав, просил подписать написанное.

Гнатышин еще раз к нему, в стороне подходил. Намекал: – Наврали. Савинский – не сам. Его в петлю загнали! Бабы! Они заставили...

– Женщины? Я допрашивал их. У Вас есть вопросы?

– Да что Вы, конечно! Те еще, люди у нас. Вы им не верьте! Их, знаете, слушать... У нас партизаны, буквально недавно совсем, воевали. Да я лично, думаю – предал их кто-то. И даже знаю, кто... Знаю: немцы его не в петлю, а в депо, на работу отдали. Вот, чтоб Вы знали, а то ведь героем сочтут. А Вы знайте. Вы же должны...

– Должен... – кивнул подполковник, – Так мы о ком?

– Тулин предатель. Я же писал!

– А Вы, – на ухо Гнатышина глянул, сдержался, и взял за обшлаг пиджака подполковник, – Вы это мне, или всем говорите?

– Ну... – Гнатышин смутился, – Вам-то, правда нужна...

– Нужна. Но Вы же её не знаете. Ее знали трое. Двое погибли, а третьего, видите сами – «замучила совесть». Мой Вам совет – молчите! Неправда и правда – первое слово длинней на две буквы – всего лишь. Не так ли? А разница – Вам объяснить?

– Да нет! – спохватился Гнатышин.

Подполковник опрашивал всех, и пришел к Елене Никитичне Тулиной. Гнатышин уже побывал, и Никитчна приготовилась к протокольному, несправедливому допросу органа власти.

– Позвольте? – спросил подполковник, и, обойдя комнату, вытащил мягкий, единственный в доме, стул.

– Присядьте, – попросил гость незваный, и отошел к окну. Он смотрел в небо. А небо клонилось так низко к земле, угрожая холодным дождем выбить окна и начисто вымыть землю.

Елена Никитична пала духом, подкосились от боли сердечной ноги, она опустилась на стул.

– Елена Никитична, – подошел подполковник, и протянул ей в ладони кусок металла. – Ваше, Елена Никитична. Всё что могу – Вам на память о сыне. Простите...

Кусочек металла скользнул в ладонь Никитичны.

– Что это, товарищ... – растерялась Никитична, не зная, как и называть начальника...

– Осколок из тела Алеши. Он сжимал его в левой руке, и

просил пистолет, а я отобрал у него осколок, и дал пулемет. Из него можно бить врага, и нельзя застрелиться. В общем... – подполковник смутился, – герой он, Ваш сын Алеша! Спасибо Вам, от лица сыновей всей земли нашей русской!

Гнатышин выкатил из подворотни, семенил с подполковником рядом и собирался с мыслями. Подполковник его упредил.

– А Вы, я так вижу, за порядок радуете, верно, товарищ Гнатышин?

– А как же? Как гражданин советской власти!..

– Задание Вам, гражданин Советской власти...

– Сделаю, с превеликой душой и долгом!

– Алену Дмитриевну Воронцову достойно похороните.

– Так уже закопали...

– Я же сказал «Достойно!» Обелиск поставьте, звездочку.

На двоих, один, одна звездочка – так судьба их сложилась.

Я Вам понятен?

– Да-да, конечно!

– Исполнение проконтролирую! Тоже, надеюсь, понятно?

– Да как не понять-то, товарищ полковник!

– Спасибо. Вы лишку хватили, Гнатышин...

Уезжал подполковник. Солнце скатывалось за горизонт, зажигая прощальный огонь, и давая тьме волю. Но, оно ви-

дело всё, и знает: мы тянемся к свету, не вправе солнце покинуть неба...

– Скажи, а те, кто меня осудит, будут довольны тем, что мы не раскрыли убийство, не задержали убийцу?! Не наказано зло – они будут довольны?

– Им дела нет до того, что у нас в душе... – подумав, ответил Алеша.

Елена, и ее любовь

Рассказ

Я возвращался в город с чувством вины. «Ваши жены должны падать в счастливый обморок, если домой Вы явились ранее девяти часов вечера! – предупреждал начальник уголовного розыска, – О счастье не забывайте, цените близких, живите во благо для них, но работе оперуполномоченный должен отдать двадцать три с половиной часа в сутки. Альтернатива – идите в другую службу. Желаете?»

Я не желал, но чувство вины моей в том, что ушедшей ночью я жил не службой, а тем, что отложив на потом все ее проблемы, в семь часов вечера постучался в дверь далеко за городом. В дверь, за которой, в дачный сезон, живет хозяйка моей судьбы, моя жена Грета. Дачный домик: армейский железный кунг на четырех ЗИЛовских колесах – наш рай на земле, шалаш, в котором так редко в последнее время мог

быть...

Вовремя подоспел: гроза, прежде меня, еще днем, посетившая рай, столь круто встряхнула землю, что опрокинула навзничь пристройку-веранду. Деревянные ноги упавшего сооружения уперлись пятками в железную дверь вагончика и заблокировали выход. Милый мой человек оказался в плену. Я разорвал преграды, разблокировал дверь, открыл выход в мир, обнял жену, и был счастлив. Но я был там – вне службы...

Из первого же автомата, набрал номер домашнего. День начинался, я был в тревоге – не знал, что случилось в мире, в городе, куда я в них отсутствовал. Отсутствовал даже на полтора часа более, чем принято в моей службе. Рабочий день, как у всех, начинается в девять, и я буду в девять, но мой начальник всегда на работе в семь тридцать. И личный состав отдела, разумеется, в это же время, а я игнорировал – только один раз, сегодня. Последствия разрушений старался исправить, хлам разгребал, а после, ну скажем честно – шло время, а я все не мог разомкнуть объятий, тянулись губы к губам любимой... Чувство вины подгоняло как можно скорее узнать обстановку. Трубку поднял мой сын:

– Папа, – поведал он, – ночью звонил твой начальник. На Животноводческой, 10, убит человек.

– Та-ак, – я его слушал, я весь был внимание, – На Жи-

вотноводческой, сын?

– Он так сказал.

– А еще что сказал, Артем?

– Сказал, что ночью я должен спать?

Я протяжно вздохнул, с буквой «М-мм...» – ребенок, конечно же, должен спать в то время.

– Ты слышишь, пап?

– Я слышу, сынишка. А где я могу найти эту улицу? – я в телефонной будке рисую пальцем – кто б видел: а главное – это зачем? Разве сынишка в ответ нарисует, в каком месте земли эта улица?

– Папа... – ответил он, – Я же сказал: на Животноводческой, 10!

– Спасибо. А как у тебя? Все нормально? Ты все успел? И уроки?

– Успел.

– Выспался, и позавтракал?

– Пап, я же сказал...

– Спасибо. Хорошего дня тебе, сын, удачи!

Ему одиннадцать лет: не возраст, чтоб говорить о том, где, кто ныне убит. Он сказал главное, не сказав – где... Я благодарен сыну, а где – вычислю сам. Предупрежден, значит, в мире безликом, великом и неизвестном, могу разобраться, занять свою нишу, сыграть свою роль.

Я гнал на своем авто «Восьмерке», не стесняясь скорости. Издержки моей профессии: срываться в движение, а после

отыскивать цель. Ошибаюсь, вполне может быть, но чего будет стоить роль, на которую ты не поспел? Чего стои спектакль, на кот ты опоздал.

Где эта «10», где убит человек – я вычислил, перебрав территорию, на которой в последнее время работал.

Перед поселком я встретил, проскочил по инерции, развернулся, снова настиг и остановил участкового.

– Что там? – спросил я, показав на железный кузов ЗИЛа. Участковый, глядя как с трона, с высокого пассажирского места ЗИЛа, ответил:

– Труп.

– С Животноводческой, 10?

– Ну да.

– Подожди, покури со мной... – прошу я участкового, – Проникающее?* (**Проникающее ножевое ранение*)

– Да, в живот...

Он взял сигарету, которую я предложил, и устало сошел ко мне на асфальт из кабины, грузовика

– На месте все были: – сказал он, – «Скорая», наши; и ваши. Прокурор сам проводил допросы. Убийца известен, и очевидцы есть. Есть материал. А убийца скрылся. Там один опер сейчас, из наших. А так – разъехались. Я в морг и тоже – спать!

Он вернулся в кабину, и грузовик с трупом удалился из поля зрения. Я думал о том, что сынишка сейчас поднимает

на плечи ранец, выходит через порог...

Летела, ввинчивалась в пространство моя «Восьмерка», я думал о том, что не только мы из детей наших лепим личность – мы должны быть достойны их. Может, сынишка забудет про это утро, но, может и вспомнит, и спросит меня. Что я отвечу – станет ясно сейчас, по адресу, который он мне назвал.

Оперативник был не совсем на месте. На месте уже было нечего делать. Оперативник курил в своем кабинетике: в полуподвале сельского клуба. До райотдела отсюда почти час езды...

– Леш, – спросил я его, – чем я могу?..

– А, – отозвался он, – да, пожалуй, ничем. Уже сделали, что могли...

«Не приехал бы вдруг... – перекашлял я в горле комок, – не приехал бы вдруг мой начальник сейчас! Или не разыскал меня по телефону. Что я скажу? Где результат?» «А зачем ты здесь?» – спросит он. Я начальника знаю, и не отвечу внятно, значит, я ничего не стою. «На фига такой нужен?!» – подумает шеф. За такую мысль мне будет очень неловко перед своим ребенком.

Леша мне рассказал, как все было. Один собутыльник убил другого. Убийца уже «топтал зону»: убийство и расчленение трупа. Несчастный, который уехал в кузове ЗИЛа, скорее всего, не подумал о том, что шутить, а особенно спорить с такими, опасно. Вечеряли вместе, говорили о жизни,

да «разошлись в понятиях»...

– Долгой была вечеря? – спросил я.

– Долгой. Случилось в три ночью, а начинали засветло.

– Мотивы?

– Мотивы? – Леша махнул рукой в сторону черта и дребедени. – Ссора по-бытовухе, а кровищи! Ты будешь смотреть?

– Нет. Может после...

– Жена потерпевшего у соседей, она еще в шоке, а вот подруга убийцы – она у меня. И, так, ничего... – мысленно оценил её внешность коллега, – Можешь с ней пообщаться. Будешь?

– Конечно, Алеш? А ты знал их раньше?

– Нет. Гости жили не здесь – на Немышле.

– Жаль, – сказал я, – лучше бы наоборот.

– Ну, конечно, жаль.

Жаль, потому, что убийца из пришлых – чужая обойма, не Леша – здешнего опера. Связи, понятно, мы можем пробить и пробьем, но разве убийца появится там? Глупо! Нужны неизвестные связи. Значит, охота окажется долгой. Это поняли те, кто работал здесь до меня. Поэтому нет никого, потому разъехались, да все это значит, что я искать буду то, что у тех отыскать не вышло.

– Алеш, – спросил я, – а подруга его не пыталась скрыться?

– Нет. – сказал он, – Дома сидела, нас дождалась. – И добавил: – Знаешь ли, почему?

– Почему?

– Двоих нам выловить было бы проще.

– Эта она тебе так объяснила?

– Смеешься...

– А что объяснила?

– Ссорились мужики меж собой; бабы от них отошли: свой уголок; своя, поспокойней мужской, компанейка. Нож взят со стола. Вдова к благоверному кинулась на пол, да уже все... Вой подняла, а душегуб испарился.

Я хмыкнул:

– И жена душегуба – в дверь! А дальше? Куда деваться? Да и ей-то зачем? Нож не из ее милых рук! Одумалась и дождалась нас дома...

– Одумалась? М-м... – я потер лоб, – Алеш...

Мы опера, не любим колоться. Хотя мы доступны: люди ведь тоже. И нас раскалывают, и раскрывают – жена моя, например – мне трудно её обмануть. Мы, по большому счету, обыкновенные, но мы это прячем...

– Леш, – уперся я подбородком в кулак. Потом кулак распрямил и положил пятерню на стол, на чистый лист бумаги. Совсем другой смысл поймал я в слове «Одумалась», потому что прежде Алеша заметил: «Двоих, нам выловить было бы проще». Он прав, я ощутил волнение: легкий намек на удачу, легчайший...

Леша, видя, как я хмурю лоб, взял связку ключей и вышел.

– Вот, – вернувшись, представил он, – Елена! А это она нам писала, – протянул он листки.

Тихо Елена вошла, как тень...

– Елена? – мягко, с нотками удивления, переспросил я, выждав пока наша гостья присядет на стул, и присмотрится к новому человеку – ко мне. В другой ситуации я бы сказал ей, что мне нравится это имя...

Она смотрела враждебно. Но она уловила мое удивление. Она, пока Леша вел ее, и когда меня только увидела, предполагала, о чем я «вопрошу». Знала, что спрашивать буду много. И представляла, о чем. А я удивил ее: я не о чем-то подумал; не так, как она представляла, а подумал о ней, Она взгляд отвела, чтобы скрыть замешательство, но я его видел! Я тоже отвел глаза, погрузился в текст объяснения, делая вид казенного человека...

– Столько людей... – поразмыслил я, отложив объяснения, – Вас просили о помощи, да, Елена?

Я отметил цвет глаз ее – серый: глаза человека, который не чтит упрямства. Такой предпочтет приспособиться, а не настаивать на своем. Вслух, если надо, скажу о глазах Лены иначе, но вывод сделан...

Назвать ее привлекательной было б наивно: помята образом жизни: тени, отечность... «Она с ним недолго путалась!» – вот что из первых же впечатлений выцепил я, и заложил в актив. Просто как женщина, просто мужчину – знает она своего Семена, убийцу и гражданина. Нормальная, но

неглубокая, мелкая связь. Поэтому, у меня есть шанс. А еще шанс в том, что она – непутевая, романтическая и молодая особа. Молодость – бонус для женщины. Сознаемый ею бонус на то, что она привлекательна, а значит не только её, а и другой мужчина готов сделать шаг навстречу. «Тем, что есть, я уже прекрасна!» – кто из женщин не чтит правды жизни...

«Но, как можно любить негодяя?» – подумал я, представляя ее и того человека, вместе. И надо признать: я чего-то не понимаю. Женщина Лена любит убийцу за то, чего нет в других, например, во мне... Любит, и думать будет не о справедливости, а о том, чтобы наши руки не оказались длинными.

– Лен, – позвал я. Может, она на возлюбленном ставит крест: тюрьма, если не навсегда, то уж очень надолго. Я пытался читать ее мысли.

– Лена...

– Ага... – она подняла на меня серый взгляд.

– Считайте, что все позади! – сказал я. – Все что могли, Вы, скорее всего, рассказали? Им, – обособил я, подразумевая, что рассказала другим, предварившим меня. Уточнил, – ведь так же? – показал за окно, на бумагу, которую она написала. – А я, Лен – другой человек!

Она визуально сравнивала меня и Алешу, дописывая в картину тех, кто допрашивал ночью. Я, понимая ее, с трудом подавил улыбку.

– А я понимаю, Лена, – сказал я, – что не вернешь Ивана... Несчастье, оно не ему – ему все равно! А несчастье – Вам.

Вам, лично!

«Что он хочет?» – не поняла меня Лена.

– Вот что хотел бы понять я, Лена... кажется, понял! – я правую руку метнул вперед. Я в воздухе щелкал пальцами. Я искал верную мысль, – Ну, это же, Лена... совсем не так просто было? С ним, с Вашим... Ну, что Вы спать с ним легли, и остались? Вы же любили? Вы судьбу человеку вручили. По-настоящему, думаю, Вы любили, если решились пойти за таким. А как его звали друзья?

– Нет... – путаясь, возразила она, – так и было... Как вы говорите – любовь...

– Любовь! – врубил я ладони в воздух, – Это же чувство святое, Лена!

– Святое...

– Но, столько врагов! – покосился я на Алешу. – Столько врагов у любви, Елена! Милиция вот, например, прокурор, я – получается, мы же враги любви вашей, так?

Можно было мне возразить? А несогласие побуждает думать. Думать мне в унисон – вот к чему я склоняю Лену...

– Но любовь – от бога! Поэтому Лен, лично я не имею права ее отменять! Не по-людски, не знаю, ну не по-божески это...

– Да, – едва слышно сказала она. – Сенекой друзья его звали...

– Сенека? – я удивился, но она этого имени не понимала, и не понимала: а что это даст, если я не решусь отменить

любовь? Но что-то ведь может дать? Ей бы понять сейчас: о реальных вещах вообще, эта речь, или нет?

Но я знал, что устала она от ночных допросов, и что не упряма – не следует путать – а прямолинейна и слабовольна...

– Сенека теперь глубоко жалеет, – подумал я вслух, – что потерял, так, по-пьянке, голову...

– Ой, – вздохнула, зябко подернув плечами, Елена, – жалеет...

– И Вас потерял.

Она вздрогнула, и опустила голову. Может быть, только сейчас и подумала, что это так. Это был переломный момент: появление мелкой, но собственной мысли!

– Но, если Вы... – я смотрел на нее испытующе. – Если Вы... В общем, не потеряли еще Вы друг друга. Не потеряли... Все, пока в руках добрых, надежных...

Она видела руки свои, и наши с Алешей, и не разумела, о чьих руках я говорю.

– Я правильно понимаю, – спросил я, – надежные, добрые руки?

– Не-е... – растерянно, птицей беспомощно-раненой, голову в плечи втянув, прошептала она. – Я не знаю...

Взглядом скользила она от окна, к Алеше; ко мне; по листкам, с написанным ею текстом – искала опоры.

– Лен, – позвал я, и перешел с ней на «ты», – в руках добрых, надежных – это в твоих руках!

Я видел «Кровавую Мэри» в ее глазах – смесь разумного недоверия и последней надежды в одном бокале.

– Вы, – пощадил я ее, улыбнулся, и мягко напомнил, – Вы же судьбу человеку вручили? Не просто же с ним переспали? Мы говорили об этом...

– Да-а...

– А его судьба где? Сенеки, имею в виду я? Я, например, женился – судьбу жены в свои руки принял. И за нее отвечаю. Ведь так? И это нормально.

– Да-а...

– Одну глупость он уже сделал, убереги от второй!

Тут я мог от усталости, и от вполне возможной бесплодности разговора, заговорить о банальных, ясных вещах. И тогда все рухнет.

Я посмотрел на ее ладони, обвисшие по сходу бедер, на длинной джинсовой юбке. Шагнул, и взял эти ладони в руки.

– Я думал, они холодные, Лена, – признался я. Подтянул влажные и, на самом деле, холодные, руки близко к своим губам. И, как бы, очнулся...

– А его судьба, Лена, – вспомнил я о Сенеке, – и Ваша – в Ваших руках! Вот в этих.

Дрогнули руки, почувствовал я, обмякли разочарованно...

– Что я могу? – со всхлипом спросила она.

Взгляд ее приземлился к полу. Я его приземлил. Потом мы с Алешей увидели: как из тумана к солнцу, взгляд скольз-

нул вверх В потемках души оживился росток надежды и спонтанно тянулся к солнцу.

– Что? – так же, тихонечко всхлипнув, переспросила Елена.

Я ответил ей просто, глядя в упор:

– Скажите нам, где его найти?

– Не знаю...

А что я хотел услышать? Я закурил. Сдвинул листки объяснения в сторону. Дым, скользя по лицу, заставил щуриться. Лена молча оценивала, как неуклюже влазил оперативник-хитрец в ее душу. Выциганить хотел, выведать, где Сенека...

Но я снова заговорил не о себе:

– Помочь, Лена, Вам – реально! – я знал, о чем говорить, потому что знал, о чем с ней говорили другие. А я не о том: она женщина, у неё проблемы – я о них, и о ней самой.

– А как? – голосом человека, захотевшего что-то понять и чего-то добиться, спросила она. Любой, осознав, что он – не пустое место, постарается чего-нибудь в этом мире достичь. А перед ней – человек, которого можно использовать. Я ведь в её любовь поверил...

– Я догадался, Лена, что не хотел убивать Ваш Сенека! Вы пришли повечерять, правда – лишь повечерять и пообщаться, так же?

– Да, повечерять и там... пообщаться...

– У мужчин, по каким-то делам, возник спор. А Иван вел

себя не совсем хорошо, дерзил. И не сдержался Сенека... Он Вас ревновал?

– Да.

– Вот видите! – я поднял вверх указательный палец, – Ревновал, он ведь любит! А Ваня не посчитался с этим и спровоцировал, так ведь? Он спровоцировал сам! Я же не ошибаюсь?

– Нет, – солгала она святой ложью во имя спасения.

– Значит, ударил он в ходе драки, Елена, а это уже не умышленное убийство. Вы понимаете?

Она мне кивала. Она не представляла, как хорошо я ее понимаю! В ее жизни, всерьез, еще не было выбора. Подобные ей выбирают по принципу: «Это по мне, потому что в кайф!»; а это – «Не в кайф – значит, ну его на фиг!» Не мало таких, что делать, но я понимал их...

– Вот Ваша версия, Лена! Единственно спасительная в Вашем положении. Вы ее не рассматривали?

– Не-ет, меня только все допрашивали, а этой... – не решилась сказать специальное слово Лена, – Не, – отрицательно покачала она головой, – ни с прокурором, ни с вашими, у нас ничего такого не было...

– А доказать бы еще аффект, Елена! Да Сенека Ваш и по амнистии выйдет! На волю!

«Подобное выкрутить -это же кайф!» – взглядом рву кожу на теле Елены, чтобы увидеть там эту мысль...

– А эффект, – осторожно спросила она, – доказать его

можно?

– Можно. Конечно, можно. Вы же свидетель: такой же, как и жена убитого. А что скажет она, представляете? И я представляю: для всех он преступник, для Вас – любимый! А это много значит! Вам надо сказать свое слово! Убитый виновен в драке, а Сенека – он жертва водки и дурного характера Вани. Судья это сможет увидеть? Сможет! – рублю я ладонью воздух, – Сможет, если это докажет свидетель, если его убедите Вы – свидетель, любящий человек, настоящая женщина! Вы понимаете, Лена?

Я видел: она понимает, она стала думать, её увлекла своя мысль, но Сенека велел однозначно другое, и ей не просто. В ней, как на северных реках весной, шел процесс: взлом взбухшего, синего льда. Она делала выбор.

– Жизнь в бегах – это жизнь без тебя... – подчеркнул Алеша, – И все равно попадетсЯ, но уж тогда он получит все! Тогда не спасти, и не видеть тебе его больше. Ты понимаешь? А так, смотри, человек, – он кивнул на меня, – говорит тебе дело.

Я устал, как от трудного дела, и снова подумал о том, что мой сын редко видит меня; мало в чем я могу помогать ему, из-за нехватки времени. А жизнь ребенка не так уж проста; и в ней есть проблемы, и та же необходимость выбора...

– Лена, Вы поняли? Я должен ехать, – сказал я, – спешу, у меня дела. А выбор за Вами! И только за Вами!

– А суд, он как... – спросила она, – эффект и там, рев-

ность... он это сможет?

– Только он и сможет! Но слово за Вами, и только сейчас.

Она поняла, что действительно я могу прямо сейчас уехать: а где взять второго такого, как я?

– А он уедет, – своевременно вставил «свои пять копеек»

Алеша, – он здесь не служит. Он нам всем начальник. Приехал, раздал нам команды. Уехал. Всё!

Заметил: она оценила, что я – начальник.

– Случайно заехал, – признался я, – ну а Вы... – дружески любовно смотрел я в глаза Елены. Я медлил, мне слова подобрать непросто: у нас еще не остыли ладони – я же брал их, ладони девушки Лены в свои ладони...

– А Вы... – тушевался я, – Что-то напомнили мне ... – Я, в общем... – пятерней всшебуршил я виски и махнул рукой, – О любви задумался, лично о Вас, почему-то...

– А что я должна?

– Не должны, а можете, Лена!

– Что могу? – низко, чуть слышно, буквально по доскам пола, прошелестел вопрос.

– Обеспечить нам встречу – мне, и Сенеке!

Она головой тряхнула, как от того, что мои слова обожгли ей щеки:

– А если я это... потом? Или это поздно?

– Да, потом – поздно!

– А... – она не хотела не верить мне. Ткнула губы в кулак, потом, глядя в глаза, спросила, – Зачем эта встреча?

– Убийцу, – не отвел я взгляда, – найду без Вас, Лена, не сомневайтесь. Встреча нужна чтобы дать нам шанс: Сенеке, тебе и...

Ледовый панцирь в бурлящей реке размышлений Елены, сорвало:

– Я покажу Вам, где он... А Вы докажете эффект...

Руки упали с колен, она поднялась, выжидающе глядя на нас с Алешей.

У нее больше не было слов, она устала, но мы не давали ей помолчать. Они были с Алешей на заднем сиденье, невидимые за тонировкой стекол. Лена показывала дорогу, а мы расспрашивали, в какой обстановке нас может встретить Сенека. В доме – рисовалась нам приблизительная картина – могут быть посторонние люди. Тесть и теща хозяина, жена, и двое детей-подростков. Компания, кроме малых, пьющая. Есть топоры и ножи, есть даже ружье... Сенека велел туда не появляться, а после, когда опера отвяжутся и пошлют ее к черту, она должна пойти к старому, деревянному мостику, и спрятать там его паспорт и деньги. «Есть, – сказал он, – места надежные. Там не достанут. А я осмотрюсь, окопаюсь, тебя позову...» Мне повезло, что Сенека спутался именно с Леной...

Дом – выяснили мы с Алешей, – с вооруженными, и непредсказуемыми людьми, стоит обособленно, на пригорке, с открытыми, легко обозримыми изнутри подходами. Мед-

лю с ответом на вопросительный взгляд Алеши. Риск очевиден, но не могу просить помощи. Я в данный момент самовольщик, не прибывший вовремя на работу, занятый черт-ти чем, и оправдаться способен только случайной, никем не проверенной информацией. Завершится самовольный экспромт результатом – могу открыто смотреть в глаза начальника, он даже на опоздание не намекнет. А так: ну какие просьбы, какая помощь...

Я вспомнил, как совершенно недавно проиграл кубок на первенство УВД по самбо. Петров из «Беркута» не только зажал меня болевым, но и просто сел сверху, уложив на лопатки – как в вольной борьбе. Обидел...

«Беркут» – вон, по пути на Немышлю, у меня появился шанс передать привет победителю. Оставив Алешу и Лену в машине, я обратился к дежурному и пояснил проблемы.

– Двух бойцов достаточно? – не отказал нам «Беркут». Два бойца получали оружие, бронежилеты и полусферы. Алеша выдал сигарету Лене. Велел курить скрытно, за тонировкой стекол, а сам подошел ко мне:

– Версия! Боже, что ты наплел! Какая версия, какая амнистия! Какой аффект?! Второй раз по одной статье. А первый – с расчленением трупа! Ты что? Он – мясник! Амнистия, блин, по любви! Слышал бы это господь!

– И без его вмешательства, – кивнул я в сторону неба, – эта версия рухнет. Рухнет, Алеша, да только потом. А кто-нибудь: бог, прокурор, министр, ты или я – мы отменим убий-

ство? Видишь ли, не отменим: ни прямо сейчас, ни после, ни вообще... Но, мы не после, не вообще, а сейчас, задержим убийцу! А ее, между прочим, я заставил исполнить гражданский долг...

– Ценой обмана?

– Было, – признал я, – ощущение что из души ее что-то выкрадывал...

– Ну... – теряясь в клубке перемешанной мысли, хмыкнул Алеша.

– Но было ли там чего красть, Алеша?

Он сверкнул на меня глазами и бросил окурок в траву под верандой «Беркута». Я посмотрел на бликующие, широкие стекла своей «Восьмерки». Оттуда, нами невидимая, наблюдала за нами Лена. Она не могла слышать нас.

– Может, ты Сталина вспомнил? – полюбопытствовал я.

– Да вот, как раз вспомнил...

– «Железной рукой загоним человечество к счастью»?

– Именно!

– Брось, – отмахнулся я, – мы загоняем в другом направлении, но не считаю себя «наполнителем тюрем», потому что не я для них направление выбрал. И не ты – они сами! А что до цены... у справедливости лица разные. Я различать их не успеваю – всмотреться некогда, вот как сейчас... но преступников, Леша, мне и тебе ловить! На нас – надеются, нам – надежды оправдывать. Мы это делаем, и пусть так и будет!

Он поднял мне навстречу усталый, вопросительный

взгляд: стоило ли возражать? Однако, он сказал правду, которая мне не нравилась.

– И сам не пойму, – согласился я, – перед кем грешу: перед собственной совестью, перед чужой, перед богом? Но понял: не будет иначе – профессия, Леша, такая... И будем служить ей, а с собой мы после, на пенсии может быть, разберемся. Если, конечно, десница господня нас прежде, за наши грехи не ударит! Не будет иначе, Алеша, – поймал за рукав и потянул я его на себя, – потому что убийца должен быть здесь! – развернул и поднес к его носу его же развернутую ладонь.

У Леша на переносице, как две рыбки, сошлись глаза.

– Ну, тебя, – не сердясь, отстранился он и отвернулся.

– Алеш, – он слышал, но я повторил: я хотел, чтобы он смотрел мне в глаза, – Алеша?

«Какие мы замордованные!» – увидел я перед собой взгляд смертельно уставшего человека, понимая, что сам точно такой же:

– Скажи, а те, кто осудит меня, будут довольны тем, что мы не раскрыли убийство, не задержали убийцу?! Не наказано зло – они будут довольны?

– Им дела нет до того, что у нас в душе... – подумав, ответил Алеша.

Я хотел распахнуть калитку, но она только дрогнула от моего удара. Бойцы нас опередили. В один миг полетела на землю ставня с глухого окна и рухнула дверь на веранде.

Мы вошли следом. Один из бойцов прижимал к полу тело мужчины, с загнутыми выше плеч руками. Второй уточнял у бледных, испуганных домочадцев:

– Это он?

«Беркут, – подумал я, – не курица, даже не коршун!» И закончил мысль: «Что ж, день не напрасно прожит».

Я не видел потом ни Сенеки, ни Лены. В жизни хватало событий: одни шли на смену другим. Но самые первые впечатления того дня: о том, что мне повезло, и трубку поднял мой сын, остались. С его непосредственных, первых же слов, спонтанно складывались смысл и направление дня грядущего. И я не мог бы, не вправе был потерять его, или прожить напрасно. Сказать тогда не сумел об этом, поэтому и вспоминаю...

А еще вспоминаю из-за того, что ребенку, который теперь стал взрослым, до сих пор, не могу сказать – был ли прав? Ведь я говорил о любви и обманывал женщину.